

Р.М. Овьянко-Куликовскій

Л.М. Тюлетой

вып. I

С.-П., 1899

8 P1

~~1182~~

Д. Н. Овсяннико-Куликовскій.

801
~~А-34~~
Т-53



Омг. П

Д. Н. ТОЛСТОЙ

КАКЪ ХУДОЖНИКЪ.

Д. К. 6450
с. К. 1452.

797

ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ.

4677



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. Меркушева, Невскій просп., 8.
1899.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ГЛАВА I.	Постановка задачи.	1
ГЛАВА II.	Художественная автобіографія въ произведеніяхъ Толстого. Ник. Иртенъевъ, Нехлюдовъ, Оленинъ, Левинъ.	6
ГЛАВА III.	Художественныя <i>открытія</i> Толстого. Народные типы въ „Казакахъ“.	32
ГЛАВА IV.	Типы національные. Каратаевъ.	47
ГЛАВА V.	Типы національные. Кутузовъ.	67
ГЛАВА VI.	Положительные великосвѣтскіе типы. Кя. Андрей Болконскій.	82
ГЛАВА VII.	Положительные великосвѣтскіе типы. Пьеръ Безуховъ.	114

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемая книга, составившаяся изъ статей, помѣщенныхъ въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» въ 1896—1897 гг., образуетъ первую часть задуманнаго мною критическаго изслѣдованія художественной дѣятельности Л. Н. Толстого.

Во вторую часть войдетъ обзоръ великосвѣтскихъ бытовыхъ типовъ (преимущественно въ «Аннѣ Карениной»), разборъ женскихъ типовъ Толстого и общее заключеніе о Толстомъ, какъ художникѣ.

Третья часть будетъ посвящена изученію тенденціозныхъ художественныхъ произведеній Толстого («Смерть Ивана Ильича», «Крейцера соната», «Власть тьмы» и др.) *).

Весьма прошу читателя предварительно исправить нижеуказанныя погрѣшности, изъ коихъ нѣкоторыя искажаютъ смыслъ фразы.

*) Одинъ очеркъ изъ этого отдѣла былъ напечатанъ въ журн. «Жизнь Юга», издававшемся въ Одессѣ.

ОПЕЧАТКИ:

СТР.	СТР.	Напечатано.	Нужно читать.
22	12 св.	опирался въ	опирался на
51	8 „	Въ слѣдующемъ листѣ	Въ слѣдующемъ мѣстѣ
57	3 сн.	невидимое грядущее	невѣдомое грядущее
62	17 „	въ которомъ и „простота“	въ которомъ „простота“
65	15 „	но тѣсно	но такъ тѣсно
66	18 св.	простоты и правды, идеа- лизированную	простоты и правды, а идеа- лизированную
75	11 сн.	часть содержанія, духа	часть содержанія духа
79	3 св.	въ средѣ волевой	въ сферѣ волевой
94	12 сн.	думаетъ	думаемъ
97	16 „	теперь вотъ опять	а теперь вотъ опять!
98	20 св.	анализируетъ	анализируя
98	17 „	возрастающей души	возрождающейся души
105	4 сн.	чѣмъ больше	чѣмъ дольше
109	8 св.	влечетъ	влияетъ



ГЛАВА I.

Въ обширной литературѣ мемуаровъ, какъ извѣстно, не претендующей на титулъ художественной, не трудно однако найти такіе мемуары, которые производятъ впечатлѣніе художественное, и даже такіе, которые по праву могутъ быть разсматриваемы не какъ простая копія дѣйствительности, а какъ ея художественное обобщеніе и истолкованіе. Къ числу таковыхъ въ нашей русской литературѣ относятся «Семейная хроника» С. Т. Аксакова и «Былое и Думы» Герцена.

На вопросъ: гдѣ таится и къ чему сводится та характерная черта, въ силу которой художественные мемуары должны быть отличаемы отъ произведеній настоящаго искусства? нужно отвѣтить такъ: эту черту слѣдуетъ искать не въ самихъ мемуарахъ, не въ самихъ образахъ, въ нихъ воспроизведенныхъ, которые зачастую ровно ничѣмъ не отличаются отъ образовъ искусства, а въ личныхъ намѣреніяхъ авторовъ. Мемуаристъ не задается цѣлью творить, обобщать дѣйствительность, создавать типичные образы: его задача—разсказать свою жизнь, передать свои впечатлѣнія, сфотографировать тотъ уголокъ дѣйствительности, который ему знакомъ. Но если у него есть даръ художественнаго обобщенія, то образы, которые онъ рисуетъ, легко могутъ выйти художественными, даже безъ всякой съ его стороны преднамѣренности. Такъ и вышло у Аксакова и Герцена. Въ «Былое и Думы» (помимо другихъ сторонъ этого поистинѣ великаго произведенія) найдутся образы несомнѣнно художественные (какъ напр. фигура отца автора).

Мемуаристъ съ художественнымъ даромъ—это тотъ-же художникъ, но только ограниченный въ своемъ творествѣ рамками дѣйствительности, которыя онъ самъ себѣ поставилъ.

Рисую, напр., себя, своихъ родителей, братьевъ, сестеръ, знакомыхъ, друзей, враговъ и т. д., онъ не имѣетъ въ виду создавать новые образы, кромѣ данныхъ ему самой дѣйствительностью, а потому и не позволить себѣ устранить изъ фигуры отца извѣстныя черты, несущественныя для художественности образа, и замѣнить ихъ чертами, взятыми изъ харак-

тера дяди, чтобы путем такой амальгамы создать новую—типичную индивидуальность. Но, в то же время, ничто не мешает ему в изображении данного лица, действительно существовавшего, выдвинуть на первый план, искусно сгруппировать и ярко осветить его типичные черты и таким образом написать портрет художественный.

Мемуарист-художник ставит себя целью одну только Wahrheit— в смысл фактической правды, но у него эта Wahrheit возводится на высшую ступень—правды художественной, не переставая быть и фактической. Художник в собственном смысле ставит себя целью Dichtung, но он волею в основу этой Dichtung положить «истинное происшествие» и «вывести» лиц, в самом деле существовавших.—только он не вмывает и не может вмывать себя в обязанность оставаться верным фактической правде.

Со стороны психологии творчества, художественные мемуары, как и произведения настоящего, свободного искусства, совмещают в себе процессы и субъективные, и объективные: мемуарист изображает себя и то, что он сам пережил, переиспытал, почувствовал, но рядом воспроизводит и других людей и вообще то, что он только наблюдал.

И так, различие между художником-мемуаристом и «настоящим» художником заключается в намерениях, в поставленной себе задаче, говоря психологическим термином,—в волевым акте. Но самый-то волевой акт чѣм-нибудь вѣдь обусловлен: художественный волевой акт обуславливается всею совокупностью художественных сил писателя. Художник-мемуарист не покидает почвы лично ему известной действительности, потому что только в этом роде творчества, который можно назвать «связанным» или эмпирическим, он и может быть мастером—по самому свойству своего таланта. В искусствах «изобразительных» этому роду отвѣчает портретная живопись и таковая-же скульптура.

Это, стало быть,—особая специальность в искусствѣ и особый дар, которым не всякій художник обладает. Тургенев, напр., повидимому, его не имѣлъ, как не имѣет его Антокольскій. Этих двух художников отнюдь нельзя было-бы назвать эмпириками в искусствѣ: факты действительности всегда служили им только отправными точками для свободного творчества. Тургенева (так можно думать) и не влекло в сторону искусства связанного, несмотря на богатство впечатлѣній, на обиліе интереснаго матеріала, который был в его распоряженіи. Его «воспоминанія» (Бѣлинскій, художникъ Ивановъ, Загоскинъ, Литературный вечеръ у Плетнева) отрывочны, написаны «между дѣломъ» и, представляя интересъ в другихъ отношеніяхъ, художественнаго значенія не имѣютъ.

Но возможна и иная разновидность художественнаго генія, в ко-

торой совмѣщаются оба творчества, и свободное, и связанное. Обладая огромнымъ даромъ художественной комбинаціи, т. е: способностью создавать новые образы, художникъ однако-же не отрывается отъ почвы действительности, въ особенности отъ той части ея, которая входитъ въ сферу его субъективнаго опыта. Будучи настоящимъ художникомъ-творцомъ, онъ въ то же время не перестаетъ быть въ известныхъ предѣлахъ эмпирикомъ, въ известномъ смыслѣ—мемуаристомъ.

Таковъ Л. Н. Толстой.

Наша задача и будетъ состоять в томъ, чтобы, по мѣрѣ возможности и умѣня, выдѣлать совмѣщающіеся въ громадномъ талантѣ Толстого элементы эмпиризма и свободного творчества и дать послѣднюю оцѣнку ихъ. Намъ предстоитъ рассмотреть: 1) ту сторону въ произведенияхъ Толстого, которая можетъ быть названа художественными «мемуарами» и «семейной хроникой»; 2) ту, которая, хотя и не подводится подъ первую рубрику, но родится съ нею в томъ отношеніи, что основана на данныхъ субъективнаго опыта: сюда относятся всѣ тѣ образы, для создания которыхъ Толстой черпалъ матеріалъ изъ богатой сокровищницы своей собственной природы; 3) образы, основанные на наблюдении и представляющие продуктъ свободного творчества, 4) фигуры историческія.

Не трудно показать, что первая и вторая рубрики занимаютъ в творествѣ Толстого весьма видное мѣсто,—можно сказать, $\frac{3}{4}$ его художественныхъ силъ были направлены именно въ эту сторону. То, что мы называемъ «семейной хроникой», составляетъ содержаніе знаменитыхъ повѣстей «Дѣтство» (1852), «Отрочество» (1854) и «Юность» (1855—1857), красною нитью проходитъ черезъ всю великую эпопею «Войны и Мира» (вся исторія семьи Ростовыхъ и отчасти Болконскихъ) и завершается въ другой великой эпопеѣ, романѣ «Анна Каренина», изображеніемъ семейной жизни Левина. Это—первая рубрика. Вторая, вмѣщающая въ себя образы, построенные на основѣ самоанализа, представлена фигурой рассказчика въ повѣстяхъ «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность», княземъ Нехлюдовымъ въ «Отрочествѣ», «Юности» и «Утрѣ помѣщика», Оленнымъ въ великолѣпной «кавказской» повѣсти «Кавкази», въ известной мѣрѣ Пьеромъ Безуховымъ (и также, если не ошибаюсь, кн. Андреемъ Болконскимъ) въ «Войнѣ и Мирѣ» и, наконецъ, Левинымъ въ «Аннѣ Карениной». Какъ видитъ читатель, все это фигуры первостепенныя; съ художественной стороны, большинство ихъ (Безуховъ, А. Болконскій, Левинъ, Оленинъ) принадлежатъ къ числу лучшихъ созданій Толстого, а съ точки зрѣнія ихъ значенія для фабулы и, что важнѣе, для идеи соответственныхъ повѣстей и романовъ всѣ они могутъ быть названы фигурами основными или центральными, т. е. такими, которыхъ нельзя устранить или замѣнить другими.

Изъ этого краткаго обзора уже видно, какую капитальную роль въ художественной дѣятельности Толстого играютъ разные виды творчества субъективнаго: здѣсь мы находимъ и воспроизведение «себя самого», и натурь, родственныхъ натурѣ художника, разработанныхъ при дѣятельномъ участіи самоанализа, и изображеніе лицъ своей семьи, своего круга. Въ дальнѣйшемъ мы постараемся ближе опредѣлить характеръ этого субъективнаго и въ то-же время выяснитъ, насколько Толстой, въ предѣлахъ своего субъективнаго творчества, является эмпирикомъ и насколько—свободнымъ творцомъ.

Обращаясь къ рубрикамъ 3-й и 4-й, я сперва позволю себѣ одну психологическую догадку. Я предполагаю, что въ теченіе своей долгой художественной дѣятельности Толстой неоднократно ощущалъ внутреннюю потребность раздвинуть рамки творчества, выйти изъ сравнительно тѣснаго круга «семейной хроники» и самоанализа, какъ-бы отдѣлаться отъ самого себя, своего круга, привычныхъ впечатлѣній и окунуться въ широкую сферу иныхъ явленій жизни. Будь Толстой, по призванію, по самой природѣ своего гения, художникъ-наблюдатель, какъ Тургеневъ, эта потребность перемѣны впечатлѣній была-бы дѣломъ весьма простымъ: разработавъ одинъ кругъ явленій, наблюдатель переходитъ къ другому, повинаясь только влеченіямъ своей художнической пылкости. У Толстого-же эти переходы всегда принимали характеръ какъ бы реакція, являлись въ видѣ умственнаго или вообще душевнаго кризиса и сводились не къ простой перемѣнѣ сюжета, а къ исканію чего-то въ родѣ стихій, населенной своеобразными явленіями духа, принципиально-противуположными тѣмъ, съ которыми художникъ до сихъ поръ имѣлъ дѣло—у себя, въ своемъ кругу. Разъ такой кризисъ наступилъ,—Толстой уже не удовлетворится простымъ, спокойнымъ наблюденіемъ людей другой сферы: ему нуженъ народъ, какъ стихія, какъ часть природы, стихійное движеніе массъ, война съ ея ужасами, съ ея своеобразной психологіей, историческіе процессы, въ которыхъ безсильна воля человѣка,—вообще все грандіозное, могучее, величавое въ своей простотѣ, безыскусственное, наивное въ своей грубой правдѣ, прямо противуположное той искусственности, условности, утонченности, которыя свойственны высшимъ слоямъ общества и вошли въ плоть и кровь его представителей, въ томъ числѣ—и самого художника. Тургеневъ, рисуя народные типы (въ «Запискахъ охотника»), показалъ намъ, что «мужики» такіе-же люди, какъ и мы, что и у нихъ наблюдается такое-же разнообразіе натуръ и умовъ, какъ и у насъ, что и тамъ есть умы практическіе, дѣловые и умы поэтическіе, созерцательные и т. д. Онъ приблизилъ народъ къ верхнимъ слоямъ и показалъ возможность взаимнаго пониманія. Толстой обращается къ народу, напротивъ, съ мыслью найти въ немъ нѣчто такое, чего нѣтъ и быть не можетъ въ культурномъ классѣ, рисуетъ народные

типы (въ «Казакахъ») — какъ совсѣмъ особую породу людей, между которой и «нами» не можетъ установиться ни пониманіе, ни сочувствіе.

Я попрошу читателя вызвать въ памяти тѣ образы, созданные Толстымъ, которые выходятъ за предѣлы субъективной (въ обширномъ смыслѣ) сферы его творчества и явились воплощеніемъ его наблюденій надъ чуждой ему жизнью. Вотъ дядя Ершкя, казакъ Лукашка, Марьянка («Казаки»), вотъ Платонъ Каратаевъ, вотъ самъ Кутузовъ,—не правда-ли, какія яркія, какія своеобразныя, какія мощныя созданія искусства! Это—не только художественныя обобщенія, полученные обычнымъ путемъ объективныхъ наблюденій,—это вмѣстѣ съ тѣмъ рядъ настоящихъ художественныхъ *открытій*. Въ наукѣ имъ отвѣчаютъ тѣ гениальныя гипотезы, которыя хотя и строятся обычными приемами индукціи и основаны на объективныхъ наблюденіяхъ, но на которыхъ прежде всего лежитъ печать глубокой, смѣлой, оригинальной интуиціи. И тамъ, и здѣсь это—плоды вдохновеній мысли, это—откровенія творчества.—тамъ ученаго, здѣсь художественнаго. Въ другихъ областяхъ своего творчества (въ сферѣ субъективной въ обширномъ смыслѣ) Толстой является образцовымъ художникомъ, глубокимъ психологомъ, тонкимъ бытописателемъ,—здѣсь, въ этихъ «художественныхъ гипотезахъ», онъ, прежде всего,—творческій гени.

И я думаю, есть какая-то внутренняя связь между этими вдохновеніями, этимъ пробужденіемъ гения и тѣми душевными кризисами, о которыхъ я говорилъ выше... Въ противуположность Тургеневу, Толстой никогда не былъ спокойнымъ созерцателемъ жизни, объективнымъ наблюдателемъ людей и вещей—это былъ всегда умъ ищущій и мятущійся. Тѣ образы, на которые я только-что указалъ, и были блестящимъ результатомъ этихъ страстныхъ исканій, счастливыми находками взволнованной мысли, рвущейся изъ оковъ привычныхъ впечатлѣній къ новымъ чарамъ невѣдомой жизни. Примелькавшіеся типы, до послѣднихъ мелочей изученная психологія людей *своего* общества дѣйствуютъ теперь на нее гнетущимъ образомъ и, охваченная стихійнымъ порывомъ, она стремится въ манящую даль новыхъ грандіозныхъ замысловъ, подобно Пушкинскому поэту, который, «дикъ и суровый», «и звуковъ, и смятенія поля», бѣжитъ

На берега пустынныхъ волкъ,
Въ широкошумныя дубровы...

Во всякомъ художественномъ созданіи есть элементъ, который можно назвать «открытíемъ». Но онъ можетъ быть больше и меньше. Онъ будетъ очень значителенъ въ томъ художественномъ образѣ, въ которомъ воплощено то, что въ конкретныхъ явленіяхъ жизни, положенныхъ въ основу образа, существуетъ только какъ намекъ, какъ психологическая возможность, или, пожалуй, даже какъ нѣчто психологически-необходи-

мое, но только въ дѣйствительности неосуществленное, непроявившееся. Проявляя его въ своемъ созданіи, художникъ его *открываетъ*. Во всемъ, что создалъ Толстой на почвѣ «семейной хроники», бытописанія великосвѣтской жизни и анализа собственной личности, этотъ элементъ—художественнаго *открытія*—былъ, для него самого, сравнительно невеликъ, порою онъ могъ считаться—психологически—равнымъ нулю. Толстой воспроизводилъ здѣсь то, что вошло у него въ плоть и кровь, что онъ хорошо зналъ и понималъ въ деталяхъ, съ чѣмъ сроднился; это было только художественное разслѣдованіе себя самого и своихъ близкихъ, вообще представителей великосвѣтскаго круга,—и соотвѣтственные образы весьма мало заключаютъ въ себѣ такого, чего нѣтъ или что дано лишь въ видѣ намека въ самой дѣйствительности. Они только отлично обобщаютъ и исчерпываютъ эту дѣйствительность. Эту часть въ творчествѣ Толстого можно назвать «интензивной» художественной культурою, которая на данной почвѣ возвращаетъ изысканные плоды художественнаго самоанализа. Она, конечно, вносила въ душу художника свѣтъ самосознанія, но въ то-же время вызывала въ немъ родъ пресыщенія собою и своимъ и приводила къ душевной реакціи, въ силу которой возгордился въ душѣ могучій и страстный порывъ—къ поискамъ дикой природы, некультурной почвы, къ художественному труду надъ величинами неизвѣстными, сулящему обильную жатву настоящихъ открытій.

Для гения Толстого въ высокой степени характерно и то, и другое: и замкнутость въ своемъ субъективномъ мірѣ, въ своемъ кругу, и тѣ исканія и отарытія, о которыхъ мы говоримъ. Поэтому великое произведение, въ которомъ совмѣщены и гармонически слиты оба начала, «Война и Миръ», и есть главное, капитальнѣйшее созданіе Толстого: онъ весь, со всею сложностью своей натуры, со всеми запросами ума, проявился въ этой эпопее, далъ въ ней свои глубочайшія художественныя изысканія въ направленіи субъективномъ и сдѣлалъ свои величайшія открытія на почвѣ творчества объективнаго.

ГЛАВА II.

Художественная автобіографія въ произведеніяхъ Толстого (Николай Иртеневъ, Нехлюдовъ, Оленинъ, Левинъ).

I.

Въ предыдущей главѣ я намѣтилъ общій планъ, котораго буду держаться въ дальнѣйшемъ изложеніи: сперва наше вниманіе должно быть обращено на тѣ части въ произведеніяхъ Толстого, которыя въ извѣстномъ смыслѣ могутъ быть названы «мемуарами» и гдѣ на авансцену выступаетъ личность самого художника, въ большей или меньшей сте-

пени замаскированная вымысломъ. Сюда, какъ это уже было указано, прежде всего относятся дѣликомъ повѣсти «Дѣтство», «Отрочество», «Юность», «Утро помѣщика», а затѣмъ отдѣльныя фигуры въ другихъ произведеніяхъ, въ особенности—Оленинъ въ «Казакахъ» и Левинъ въ «Аннѣ Карениной».

Что повѣсти «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность» не были плодомъ настоящей *Dichtung* и представляютъ собою родъ художественной автобіографіи и семейной хроники,—это давно уже было извѣстно. Но только теперь мы имѣемъ возможность выяснитъ съ нѣкоторою обстоятельностью этотъ характеръ раннихъ произведеній Толстого и отдѣлитъ въ нихъ то, что принадлежитъ творчеству «связанному», отъ продуктовъ художественнаго вымысла. Эту возможность мы имѣемъ, благодаря обнаруженію разныхъ біографическихъ свидѣній о Толстомъ—въ статьѣ проф. *Н. П. Загскина* «Студенческіе годы Л. Н. Толстого» («Истор. Вѣстн.» 1894, январь) и въ книгѣ *Р. Левенфельда* «Графъ Толстой. Его жизнь, произведенія и міросозерцаніе» (русск. перев. С.-Петербур., 1896).

Левенфельдъ, черпавшій изъ непосредственнаго источника, отъ самого Л. Толстого и членовъ его семьи и пользовавшійся также неизданнымъ дневникомъ Толстого, сообщаетъ намъ слѣдующія, не лишеныя интереса указанія, касающіяся его первыхъ произведеній. «У Толстого»—говоритъ онъ—«былъ планъ большого романа: *Исторія 4-хъ эпохъ*. Онъ имѣлъ въ виду изобразить *въ формѣ личныхъ воспоминаній* духовное или, точнѣе говоря, душевное развитіе ребенка, мальчика, юноши и взрослого человѣка» (Левенф., стр. 42). Отсюда мы заключаемъ, что въ раннюю пору творчества, къ которой относится это извѣстіе, художественная пытливость Толстого была обращена *внутрь*, что, когда впервые его духовныя очи раскрылись и внутренний голосъ призванія сказалъ ему: «виждь и внемли», то онъ прежде всего увидѣлъ *самого себя*. Какъ извѣстно, однако, планъ большого романа «Исторія 4-хъ эпохъ» не былъ осуществленъ, но плодомъ этого чисто-субъективнаго замысла явились повѣсти «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность», такъ что «три эпохи» все-таки были воспроизведены. Четвертая-же («взрослый человѣкъ») была лишь намѣчена въ отрывкѣ «Утро помѣщика». Но, въ концѣ концовъ—въ другомъ только видѣ, по другой программѣ—этотъ циклъ 4-хъ эпохъ былъ все-таки завершенъ, потому что фигура *Левина* есть несомнѣнно плодъ стремленія Толстого—изобразить самого себя уже сложившимся и достигшимъ полноты самосознанія человѣкомъ. Не трудно понять, почему именно послѣдняя, 4-я, эпоха явилась въ художественномъ изображеніи такъ поздно: въ 50-хъ годахъ Толстой могъ, опираясь на свои воспоминанія и путемъ самоанализа, изобразить себя ребенкомъ, отрокомъ и юношей, но для воспроизведенія себя, какъ взрослого человѣка, у него, при сложности и своеобразіи его натуры, въ ту эпоху еще не было до-

статочны данныхъ, не было еще запаса отошедшихъ въ даль прошлаго воспоминаній: онъ могъ тогда только кое-что намѣтить и понять въ себѣ и это немногое, свидѣтельствующее о все еще продолжающемся броженіи его духа, онъ и далъ въ «Утрѣ помѣщика» и въ образѣ Оленина. Но ему еще было далеко до полноты самосознанія, до окончательнаго выясненія своихъ путей въ жизни, своихъ цѣлей, идеаловъ.— все это опредѣлилось, осѣло и кристаллизовалось гораздо позже, послѣ долгаго опыта жизни и большихъ подвиговъ творчества. Великій художникъ не понимаетъ себя, не подведетъ себѣ итога, прежде чѣмъ создастъ свое главнѣйшее произведеніе. Для Толстого 1-я эпоха, эпоха окончательнаго самоопредѣленія, могла наступить только послѣ созданія «Войны и Мира». — когда онъ и принялся за послѣднюю часть автобиографіи и въ *Левинѣ* подвелъ итоги самому себѣ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію съ этой автобиографической точки зрѣнія первыхъ произведеній Толстого, приведу сперва слѣдующую цитату изъ книги Левенфельда: «Въ дневникѣ Толстого мы находимъ нѣкоторыя хронологическія указанія относительно его произведеній. 9 июня 1852 г. онъ уже можетъ отослать въ Петербургъ свою первую повѣсть «Дѣтство». Одно за другимъ пишетъ онъ «Утро помѣщика», «Набѣгъ» и «Отрочество»... 18 октября Левъ Н-чъ составилъ планъ «Кавказскаго разсказа» (вышедшаго впоследствии въ свѣтъ подъ заглавіемъ «Казаки»). 9 ноября онъ уже думаетъ о 3-й части «Дѣтства» и «Отрочества». — «Юности»... Все эти произведенія, представляя собою описаніе лично пережитого, — результатъ собственнаго внутренняго опыта и наблюденія въ гораздо большей степени, чѣмъ плодъ свободной фантазіи творческаго духа, тѣмъ не менѣе, поражаютъ рѣдкою самостоятельностью» (стр. 37) ¹⁾.

Здѣсь для насъ любопытны и хронологическія указанія, почерпнутыя изъ «Дневника», и самый отзывъ Левенфельда о первыхъ произведеніяхъ Толстого, — отзывъ, указывающій на субъективное и автобиографическое ихъ происхожденіе. 1852 годъ былъ эпохою въ жизни Толстого: въ этомъ году пробудился его творческій гени, и свидѣтельство Левенфельда показываетъ намъ, какія задачи прежде всего представились уму и фантазіи молодого художника. Это были задачи *самосознанія, художественнаго самоопредѣленія*. Въ этомъ отношеніи начало дѣятельности Толстого рѣзко отличается отъ первыхъ серьезныхъ (юношескія, незрѣлыя произведенія въ счетъ не идутъ) опытовъ Пушкина, Гоголя, Тургенева и отчасти сближается съ началомъ творчества Лермонтова и Гончарова, писателей, отличающихся, подобно Толстому, обладаніемъ субъективнаго направленія художественныхъ силъ. Когда

¹⁾ Курсивъ мой.

Пушкинъ писалъ «Руслана и Людмилу» и «Кавказскаго пленника». Гоголь—свои первыя повѣсти, Тургеневъ—«Записки охотника», ими являлась потребность отлить въ художественные образы извѣстную сумму впечатлѣній и идей, не имѣющихъ прямого отношенія къ личности самого автора, и задача самосознанія не вставала передъ ними. У Толстого пробужденіе потребности творить было вмѣстѣ съ тѣмъ и стремленіемъ проникнуть въ свою душу, изучить и изобразить свою собственную личность въ ея развитіи и ея состояніи въ данный моментъ. Вотъ и посмотримъ, какъ была выполнена эта задача.

Изображеніе себя самого, исторія своего душевнаго развитія у Толстого неразрывно связаны съ «семейной хроникой» и воспроизведеніемъ бытовой психологіи той среды, къ которой онъ принадлежитъ. Какъ увидимъ ниже, это не просто «художественный пріемъ», это—необходимая постановка вопроса, обусловленная основными свойствами таланта и самой натуры Толстого.

Разработка «семейной хроники» изъ трехъ автобиографическихъ повѣстей представляетъ нѣкоторыя особенности, на которыя слѣдуетъ обратить вниманіе.

Изъ книги Левенфельда и статьи проф. Загоскина мы узнаемъ, что отецъ нашего писателя, Николай Ильичъ Толстой (*Николай Ильичъ Ростовъ* «Войны и Мира») овдовѣлъ въ 1830 г., «когда Льву Н-чу истекалъ всего лишь второй годъ» (Загоск., стр. 84). Семь лѣтъ спустя (1837) умеръ и графъ Николай Ильичъ. Тогда Л. Н. было 9 лѣтъ. Осиротѣвшая семья (опекушкой которой была графиня Остенъ-Сакенъ) переселилась въ Москву, гдѣ воспитаніемъ дѣтей завѣдовали нѣмецъ Ф. П. Россель и французъ St.-Thomas.

Вотъ именно изображеніемъ нѣмца-учителя и начинается повѣсть «Дѣтство», гдѣ онъ названъ Карломъ Ивановичемъ. Только здѣсь дѣйствіе перенесено въ деревню. Конечно, отъ этой перестановки глава о «Карлѣ Ивановичѣ» и вся фигура добраго нѣмца не перестаютъ быть Wahrheit. Но уже со второй главы («Маманъ») несомнѣнно начинается Dichtung. Въ этой главѣ изображена мать рассказчика, которую, какъ мы только-что видѣли, Толстой помнить не могъ. Я предполагаю, что онъ, по воспоминаніямъ другихъ лицъ, по семейнымъ преданіямъ, хотѣлъ силою воображенія возстановить невѣдомый образъ своей матери. Вѣроятно, молодой художникъ долго всматривался въ ея портретъ, страстно желая представить себѣ ее живою и вообразить себя ребенкомъ, согрѣтымъ ничѣмъ незамѣнимой материнскою любовью, которую извѣдать ему не было дано. Перечитайте со вниманіемъ тѣ страницы «Дѣтства», гдѣ идетъ рѣчь о «шаманъ», и вы легко замѣтите, что этотъ образъ какъ-бы подернутъ туманомъ, онъ—не портретъ живого человѣка, онъ—почти видѣніе, блѣдный призракъ, вызванный изъ загробнаго міра. Молодой пи-

сатель «смутно видѣлъ» этотъ призракъ «сквозь слезы воображенія» (гл. II). Онъ, конечно, могъ-бы отряхнуть эти слезы и, давъ волю фантази, создать совершенно-новый образъ, поставить на вакантное мѣсто другую женщину, назвавъ ее своей «мама». Но въ данномъ случаѣ молодой писатель не чувствовалъ внутренняго влеченія къ этого рода «Dichtung»¹⁾. Здѣсь наглядно подтверждается истина, гласящая, что художникъ, въ своемъ творествѣ, прежде всего стремится удовлетворить пзвѣстнымъ, строго опредѣленнымъ, въ данное время заявляющимъ о себѣ потребностямъ своего ума и чувства. Изъ такихъ потребностей вытекаетъ постановка художественной задачи. Создаваемый образъ является ея рѣшеніемъ. Въ повѣсти «Дѣтство» Толстымъ руководила именно потребность узнать свою мать, постигнуть ея душу, почувствовать ея несуществующую материнскую ласку и любовь. Художественная задача, обусловленная этимъ живымъ душевнымъ стремленіемъ, приводила къ необходимости перейти отъ Wahrheit мемуаровъ къ тому роду творчества, который такъ свойственъ гению Толстого и состоитъ въ созданіи образовъ повидимому объективныхъ, на самомъ-же дѣлѣ основанныхъ на анализѣ собственныхъ ощущеній автора. Но въ данномъ случаѣ эти ощущенія были, такъ сказать, отрицательными психологическими величинами: это было ощущеніе какого-то пробѣла въ душѣ, сознание пустоты въ томъ мѣстѣ душевнаго обихода, гдѣ должны были-бы сохраняться живые слѣды материнской любви. Стремясь заполнить этотъ пробѣлъ, молодой художникъ углубляется въ анализъ своего внутренняго міра и старается заставить трепетать ту струну, которая у него, не помнившего матери, никогда не трепетала.

Насколько это удалось Толстому въ повѣсти «Дѣтство»?

Самое выдающееся мѣсто, сюда относящееся, это глава XV-я. «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дѣтства! Какъ не любить, не дѣлать воспоминаній о ней?..»—такъ начинается эта глава, въ которой Толстой видимо хотѣлъ растолковать самому себѣ всю непосредственную глубину и красоту любви ребенка къ матери и матери — къ своему дитяти. «Чувствуешь, бывало, въ просонкахъ, что чья-то нѣжная рука трогаетъ тебя; по одному прикосновенію узнаешь ее, и еще во снѣ неволью схватишь эту руку и крѣпко, крѣпко прижмешь ее къ губамъ. Всѣ уже разошлись; одна свѣча горитъ въ гостиной; мама сказала, что она сама разбудитъ меня: это она присѣла на кресло, на которомъ я сплю, своею чудесною нѣжною ручкою провела по моимъ волосамъ, и надъ ухомъ моимъ звучитъ милый, знакомый голосъ:— вставай, моя душечка, пора идти спать.—Ничьи равнодушные взоры не стѣсняють ее; она не боится излить на меня всю свою нѣжность и любовь.

¹⁾ За то, такъ вступилъ онъ съ образомъ отца, списавъ его съ другого лица, какъ увидимъ ниже.

Я не шевелюсь, но еще крѣпче цѣлую ея руку.—Вставай-же, мой ангелъ!—Она другою рукою беретъ меня за шею, и пальчики ея быстро шевелятся и шекотаютъ меня. Въ комнатѣ тихо, полутемно; нервы мои возбуждены шекоткой и пробужденіемъ; мама сидитъ подлѣ самаго меня; она трогаетъ меня; я слышу ея запахъ и голосъ. Все это заставляетъ меня вскочить, обвить руками ея шею, прижать голову къ ея груди и, задыхаясь, сказать:—Ахъ, милая, милая мамаша, я какъ тебя люблю!—Она улыбается своею грустной, очаровательной улыбкой, беретъ обѣими руками мою голову, цѣлуетъ меня въ лобъ и кладетъ къ себѣ на колѣни.—Такъ ты меня очень любишь?—Она молчитъ съ минуту, потомъ говоритъ:—Смотри, люби меня, никогда не забывай. Если не будетъ твоей мамаши, ты не забудешь ее?.. Не забудешь, Николенька?—Она еще нѣжливѣ цѣлуетъ меня.—Полно! и не говори этого, голубчикъ мой, душечка моя!—вскрикиваю я, цѣлуя ея колѣни; и слезы ручьями льются изъ моихъ глазъ,—слезы любви и восторга».

Я нарочно привелъ все это мѣсто цѣликомъ: оно представляется мнѣ своего рода пробнымъ камнемъ для нѣкоторыхъ сторонъ художественнаго дарованія Толстого. Приведенная страница едвали можетъ считаться удавшейся въ художественномъ отношеніи: на этотъ разъ Толстому не удалось «схватить» здѣсь то, что онъ хотѣлъ «схватить», и поймать его тамъ, гдѣ оно—по выраженію Гете—«интересно»¹⁾. Много разъ—въ видѣ опыта—перечитывалъ я эту страницу и всегда оставался холоднымъ. А между тѣмъ, она, повидимому, и разсчитана на то, чтобы тронуть читателя, чтобы вызвать живое чувство поэзіи дѣтства, любви дѣтской и материнской. Очевидность такого намѣренія и отсутствіе соотвѣстнаго эффекта производятъ впечатлѣніе антихудожественное. Иная неудачная въ художественномъ отношеніи страница можетъ, такъ сказать, сойти съ рукъ и не выдать себя, если останется незамѣченнымъ тотъ фактъ, что авторъ «старался», подбиралъ краски, напрягалъ свое воображеніе. Въ данномъ-же случаѣ это-то и замѣтно: ясно видны сочиняющій авторъ, сознательно подбирающій подходящія черты для изображенія душевныхъ состояній, которыхъ онъ не испыталъ. Чтобы это стало очевиднѣе, достаточно вспомнить ту сцену въ «Аннѣ Карениной», гдѣ изображено свиданіе Анны съ сыномъ. Вотъ страница, которую нельзя читать безъ глубокаго душевнаго потрясенія,—вотъ тѣ «рѣчи» на тему о материнской и дѣтской любви, которымъ «безъ волненія внимать невозможно». И притомъ—полное отсутствіе какихъ-бы то ни было слѣдовъ преднамѣренности:—потрясающій эффектъ подкрадывается замѣтно и застаётъ читателя врасплохъ.

Этотъ поразительный контрастъ между изображеніемъ материнскаго

¹⁾ Und wo Ihr's packt.—ja ist's interessant.

и дѣтскаго чувства въ «Дѣтствѣ» и его изображеніемъ въ «Аннѣ Карениной» былъ обусловленъ не тѣмъ, что талантъ Толстого окрѣпъ и развился, а тѣмъ, что художнику стало доступно чувство, котораго онъ не вѣдалъ раньше, въ то время, когда писалъ «Дѣтство». Материнскую любовь мужчина постигаетъ двумя путями: по воспоминаніямъ дѣтства и черезъ посредство отцовскаго чувства. Второй путь гораздо важнѣе перваго: преданія дѣтства съ лѣтами забываются, и гаснутъ тѣ чувства, которыми нѣкогда была переполнена душа ребенка. Образъ матери все дальше и дальше отодвигается въ глубь прошлаго, все гуще и гуще заволакиваетъ его туманомъ забвенія. Но великій художникъ, какъ Толстой, все-таки сумѣлъ-бы, силою творческаго воображенія, разсѣять этотъ туманъ, оживить угасшія чувства и воскресить подзабытый образъ, если-бы только онъ когда-либо зналъ ихъ. Но этого-то условія, какъ извѣстно, и не было, и вотъ почему въ повѣсти «Дѣтство» такъ блѣдны, такъ художественно-бессильны страницы, посвященныя «шатамъ». Вотъ почему онѣ отмѣчены всѣми признаками сочиненности, искусственнаго головного построенія. Авторъ, называя черты за чертами и повторяя до утомительности одно и то-же въ различныхъ комбинаціяхъ (она сидитъ вовлѣ меня, я слышу ея запахъ и голосъ, она улыбается мнѣ, я пѣлаю ея руку и т. д.) видимо самъ ищетъ жлого художественнаго представленія и, не смотря на всѣ поиски, не находилъ его. За-то, впоследствии, когда Толстой, ставъ семьяниномъ, извѣдалъ чувства мужа и отца и черезъ ихъ посредство постигъ материнскую любовь и душевный миръ ребенка, цѣлкомъ построенный на органической привязанности къ матери, тогда ему уже не нужно было искать и «расписывать». Достаточно было только рассказать, какъ вошла Анна Каренина въ комнату сына, какъ ребенокъ проснулся и, потягиваясь, полусонный прильнулъ къ матери,—заставить Анну сказать: «милый Кутикъ!» да поставить въ дверяхъ фигуру растроганнаго и растерявшагося гувернера, и художественное «слово» было «найдено», была написана одна изъ самыхъ замѣтныхъ, одна изъ самыхъ безмертныхъ страницъ во всемирной литературѣ.

II.

За исключеніемъ «шатамъ», всѣ прочіе, важнѣйшіе образы въ трехъ автобиографическихъ повѣстяхъ являются какъ-бы первыми эскизами или набросками той кисти, которая впоследствии напишетъ великолѣпныя, во весь ростъ, фигуры бытовыхъ типовъ «Войны и мира» и «Анны Карениной». Сюда принадлежатъ: отецъ рассказчика, его бабушка, братъ Володя, знакомые изъ общества, а также и лица другихъ состояній, входящія въ обиходъ домашней помѣщичьей жизни, какъ учитель Карлъ Ивановичъ, Мими, Наталья Савишна. Эти фигуры, хотя и не достига-

ютъ той высоты художественности, на которой стоятъ бытовые типы «Войны и мира» и «Анны Карениной», тѣмъ не менѣе, являются образами съ определенной, ярко очерченной физиономіей и значительной типичностью. Для изображенія этихъ лицъ Толстой имѣлъ въ своемъ распоряженіи «натуру» и всѣ они входили такъ или иначе въ сферу его внутренняго опыта. Въ этомъ отношеніи любопытно слѣдующее свидѣтельство Левенфельда: «Теперь, когда мы знаемъ, что онъ лишился отца и матери въ... вѣжномъ возрастѣ... мы должны признать въ родителяхъ и бабушкѣ Иртеньева произведенія художественнаго творчества, въ созданіи которыхъ свободная фантазія и наблюденія надъ широкимъ кругомъ лицъ принимали одинаковое участіе... Такъ-какъ Толстой не зналъ своего отца, то онъ избралъ, до извѣстной степени, въ качествѣ образца, другого пожилого человѣка изъ круга своихъ знакомыхъ дядя его будущей супруги со стороны матери послужилъ ему образцомъ для отца Иртеньева, а Мими въ «Дѣтствѣ» Толстой срисовалъ съ дамы, бывшей гувернанткой въ домѣ этого самаго дяди, съ воспитательницы тещи Толстого» (48—49).

Здѣсь представляютъ интересъ фактическія свидѣнія, но мысль, что образы родителей Иртеньева были созданы путемъ свободной фантазіи и наблюденій надъ широкимъ кругомъ лицъ, требуетъ, на мой взглядъ, нѣкоторыхъ оговорокъ. Фигура отца Иртеньева была списана съ определенной личности, которая тутъ-же и указана. Что касается матери, то вышеочерченный характеръ этого образа не позволяетъ думать, чтобы онъ могъ быть полученъ путемъ наблюденія. Въ его созданіи участвовала одна только «свободная фантазія», дѣйствовавшая на этотъ разъ почти априорно,—оттого-то образъ и вышелъ такимъ блѣднымъ. Вообще, роль этихъ двухъ элементовъ, свободной фантазіи и наблюденія надъ широкимъ кругомъ лицъ, едвали была значительною въ началѣ дѣятельности Толстого, въ особенности когда онъ писалъ «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность». Кругъ его наблюденій былъ по необходимости ограниченъ тогда сравнительно узкими предѣлами его родни и той части великосвѣтской среды, въ которой онъ вращался. Правда, къ той-же эпохѣ относятся и нѣкоторыя наблюденія надъ извѣстными типами изъ другихъ классовъ (напр., студенты изъ разночинцевъ въ «Юности»), а также надъ народною жизнью («Утро помѣщика» и «Казани»). Но эти наблюденія были только первыми попытками выйти изъ закодированнаго круга узкихъ, семейно-кружковыхъ впечатлѣній. Нѣкоторыя изъ этихъ попытокъ привели къ блистательнымъ результатамъ; сюда прежде всего нужно отнести великолѣпные типы «Казанцевъ» (дядя Ершюка, Лукашка, Марианка и др.), которыми мы займемся ниже. Но всѣ образы, сюда относящіяся, начиная со студентовъ-разночинцевъ въ «Юности», носятъ на себѣ ясныя слѣды того, что художникъ, ихъ писавши, принадлежить

къ другому, именно великосвѣтскому кругу, что онъ смотритъ на Божій мръ глазами аристократа. и самъ, чувствуя узкость и негуманность этой точки зрѣнія, борется съ нею, старается сбросить съ себя эти очки и взглянуть на людей и вещи съ иной, высшей и болѣе человѣчной точки зрѣнія. Не всегда это ему удается, и тамъ, гдѣ наименѣе удается, этотъ протестъ, эта борьба съ самимъ собою сказываются ярче и сами по себѣ являются предметомъ художественнаго воспроизведения. Въ этомъ отношеніи очень характерна глава XXXI «Юности», озаглавленная «Comme il faut». Этимъ терминомъ Толстой обозначилъ одно «изъ самыхъ нагубныхъ, ложныхъ понятій, привитыхъ ему воспитаніемъ и обществомъ», въ силу котораго онъ дѣлилъ всѣхъ людей «на comme il faut и на comme il ne faut pas»; «второй родъ подраздѣлялся на людей собственно не comme il faut и простой народъ. Людей comme il faut я уважалъ и считалъ достойными имѣть со мной равныя отношенія; вторыхъ—притворялся, что презираю, но въ сущности ненавидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали,—я ихъ презиралъ совершенно». «Главное зло,—читаю далѣе,—состояло въ убѣжденіи, что comme il faut есть самостоятельное положеніе въ обществѣ, что человѣку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ comme il faut, что достигнувъ этого положенія, онъ уже исполняетъ свое назначеніе и даже становится выше большей части людей». Сознать, что это—зло, и стараться освободиться отъ него—это, конечно, первый шагъ къ той элементарной, по крайней мѣрѣ, внутренней свободѣ, которая безусловно необходима художнику. Но не такъ-то легко въ самомъ дѣлѣ ее завоевать. Протестуя противъ точки зрѣнія comme il faut, Толстой въ «Юности» фактически рисуетъ различіице въ именно съ этой точки зрѣнія: она свозитъ въ самомъ способѣ изображенія, всѣ эти Оперовы, Семеновы и прочіе появляются въ полѣ зрѣнія читателя какъ разъ въ той-же постановкѣ и такомъ-же освѣщеніи, какъ и въ глазахъ самого героя comme il faut: герой, а за нимъ и читатель смотритъ на нихъ, какъ на курьезные образчики изъ какого-то особаго міра, какъ на экземпляры, вываченные изъ массы на показъ, которые скоро сливаются опять въ безразличную кучу, утрачивая свои индивидуальныя признаки,—Семеновъ смѣшивается съ Оперовымъ, Оперовъ съ Шковнымъ, и отъ нихъ остается только общее впечатлѣніе, родъ запаха, что они не comme il faut.

Есть, конечно, разные пути, ведущіе къ освобожденію отъ этой узкой и негуманной точки зрѣнія на людей, столь вредной вообще, а для художника—въ частности,—напримѣръ, путь внутренней переработки своего духовнаго содержанія черезъ усвоеніе широкихъ идей и человѣчныхъ стремленій, путь фактическаго ознакомленія съ жизнью и психологіей

людей другихъ слоевъ. Этими путями и шелъ Толстой въ началѣ своей дѣятельности и достигъ значительной степени внутренней свободы, давшей ему возможность изобразить въ «Казакахъ» народныя типы съ глубокою художественною правдою и такъ, что читатель уже не забудетъ этихъ образовъ и не смѣшаетъ дядю Ерошку съ Лукашкой и Лукашку съ Назаркой. Но, какъ увидимъ ниже, и тутъ Толстому—въ лицѣ Оленина—не удалось вполне отвлечься отъ «ветхаго чловѣка» и вытравить въ себѣ специально-аристократическую основу въ отношеніяхъ къ людямъ и жизни вообще. Другой путь къ дальнѣйшимъ завоеваніямъ въ области внутренней свободы открывался передъ нимъ. Это былъ путь болѣе широкихъ наблюденій и болѣе глубокаго изученія той самой среды, которая ограничивала его свободу, развить въ немъ исключительную точку зрѣнія на людей, привычку ко злу «comme il faut». Нужно было взять быка за рога. Дѣло въ томъ, что и въ великосвѣтской средѣ, какъ и во всякой другой, есть свой «міръ» и свой «мирокъ». Отличительныя черты, привычки, точки зрѣнія и пр., принадлежащія средѣ, сильнѣе выражаются и получаютъ особливо-уродливое развитіе въ ея «міркѣ» и—наоборотъ—въ значительной степени ступшевываются и парализуются, перекрещиваясь другими бытовыми продуктами той-же сословной психологіи,—въ ея «мірѣ». Это различіе проявляется съ наибольшою силою въ тѣхъ классахъ, которые играютъ или играли извѣстную историческую роль и были ареною различныхъ умственныхъ движеній. Возьмите, напримѣръ, какой-нибудь уголокъ западно-европейской буржуазной жизни: обыватели этого уголка, хотя-бы они и не были притянуты крайними буржуазными стремленіями или идеалами, непременно будутъ отражать въ себѣ черты сословной узкости, мѣщанскихъ предрассудковъ въ гораздо большей мѣрѣ и въ болѣе уродливой формѣ, чѣмъ тотъ «буржуа», который живетъ болѣе широкою жизнью своего класса и, соприкасаясь съ различными теченіями этой жизни, находитъ въ массѣ психическихъ продуктовъ, приносимыхъ и уносимыхъ этими теченіями, и такіе, которые могутъ ему послужить противоидеомъ противъ узкости его-же сословной психологіи. Явленіе это гораздо сложнѣе, чѣмъ это кажется на первый взглядъ. Помимо различныхъ вліяній умственнаго и нравственнаго порядка, дѣйствующихъ на личность въ широкомъ «мірѣ» его класса и отсутствующихъ въ «міркѣ», здѣсь дѣйствуютъ еще особыя, пока мало изученныя, психическіе процессы, именно тѣ, которые развиваются въ общеніи личности съ ея средою и опредѣляютъ собою то, что можно назвать *общественнымъ самочувствіемъ* чловѣка. Въ «міркѣ» сословныя черты этого самочувствія выступаютъ ярче и уродливѣе, чѣмъ въ мірѣ,—и въ уздѣ дѣйствительный статскій совѣтникъ чувствуетъ себя гораздо «дѣйствительнѣе», чѣмъ въ столицѣ. Въ широкой классовой средѣ, населенной *массою* представителей того-же классоваго типа, спе-

пальныя черты сословной психологии отвлекаются от индивидуумовъ къ массѣ, и личность, въ известной мѣрѣ освобождаясь отъ нихъ, въ той-же мѣрѣ становится человѣчнѣе; напротивъ, въ узкой средѣ, наполненной сравнительно-небольшимъ числомъ представителей класса, эти черты, не отвлекаемая притяжениемъ сословной массы, тѣмъ рѣзче проявляются въ отдѣльныхъ личностяхъ. Въ этомъ отношеніи явления сословной психологии должны быть отличаемы отъ другихъ коллективныхъ психическихъ процессовъ, которыхъ сила или интенсивность возрастаетъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ массы индивидуумовъ, являющихся носителями этихъ процессовъ. Маника или, наоборотъ, отвага тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше толпа. То-же самое, думаю, относится къ умственнымъ явлениямъ: большая толпа дураковъ глупѣе небольшой кучки тѣхъ-же дураковъ. Но другое дѣло черты сословной психологии, а также, нужно прибавить, и национальной. Психологически онѣ—форма, а не содержаніе. Это какъ-бы та рамка, въ которую вкладывается индивидуальное содержаніе личности. Въ общеніи личности съ массою, въ живомъ взаимодействіи большого числа лицъ той-же психологической формы, сословной или национальной, затрогивается преимущественно содержаніе, а не форма: люди обмѣниваются мыслями, чувствами, сталкиваются характерами, темпераментами, сходятся и расходятся во взглядахъ, вѣрованіяхъ, убѣжденіяхъ,—а своихъ формальныхъ, сословныхъ или национальныхъ, чертъ даже не чувствуютъ, какъ не чувствуемъ мы воздуха или собственного тѣла, пока оно здорово. Поэтому, эти формальные элементы не выступаютъ наружу съ той назойливостію, какъ это бываетъ въ тѣсныхъ сословныхъ кругахъ, гдѣ обмѣнъ содержаніемъ скуднѣе, или въ национальныхъ группахъ, замкнутыхъ въ узкой обособленной жизни и характеризующихся тѣмъ, что у нихъ содержаніе сливается съ формою, что онѣ неспособны вложить въ свою национальную форму новое содержаніе идей, стремленій, нравовъ, вѣрованій, вкусовъ. Тогда формально-психологические элементы выступаютъ вмѣстѣ съ содержаніемъ наружу, проникаютъ въ сознание и даютъ въ результатъ въ одномъ случаѣ сословную обособленность и узкость, въ другомъ — национальную исключительность, въ обоихъ—негуманный, чуждый человѣчности и широты укладъ духа.

Послѣ этихъ соображеній мы поймемъ, насколько необходимо было Толстому, какъ художнику, и, добавимъ, какъ человѣку, перейти отъ узкой сферы великосвѣтскаго кружка къ наблюдениямъ надъ цѣлымъ «міромъ» великосвѣтской жизни въ ея различныхъ теченіяхъ и проявленіяхъ, во всемъ разнообразіи вырабатываемыхъ ею характеровъ и умовъ,—какъ изображена она въ «Войнѣ и Мирѣ» и «Аннѣ Карениной».

Съ этой точки зрѣнія мы и рассмотримъ въ свое время — гл. VI и VII. — великосвѣтскіе типы этихъ двухъ большихъ эпопей. Здѣсь же у насъ на очереди анализъ тѣхъ образовъ, въ которыхъ Толстой вопло-

тилъ свою художественную автобіографію. Этотъ анализъ прежде всего раскроетъ то броженіе душевныхъ силъ, ту внутреннюю ломку, чрезъ которыя прошелъ гениі Толстого—въ своемъ стремленіи сбросить съ себя гнетъ сословной психологии и завоевать ту долю внутренней свободы, какая была безусловно необходима для того, чтобы художникъ могъ выступить на только-что указанный путь широкихъ наблюденій и объективнаго творчества.

Эта внутренняя борьба и ломка были тѣсно связаны у Толстого съ процессомъ самоанализа и вопросомъ самосознанія, къ разсмотрѣнію которыхъ и перейдемъ теперь.

III.

Въ связи съ субъективизмомъ и эмпиризмомъ, которыми такъ ярко отличается гениі Толстого, находится, какъ отпрыскъ этого основнаго уклада, то, что можно назвать «эгоцентризмомъ» въ искусствѣ: художественная пылливость прежде всего обращается къ личности самаго художника, какъ объекту ближайшему и наиболѣе доступному для эмпирическаго изученія.

Эгоцентрическое направленіе творчества и тѣсно связанный съ нимъ самоанализъ занимаютъ первенствующее мѣсто въ раннихъ произведеніяхъ Толстого. Сюда прежде всего относятся въ «Дѣтствѣ», «Отрочествѣ» и «Юности» фигуры рассказчика Николая Иртеньева и его друга, князя Нехлюдова. Что эти два образа представляютъ собою художественное воспроизведеніе собственной личности автора, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія для всякаго, кто сколько-нибудь вдумчиво читалъ Толстого. Только ради полноты приведу относящіяся сюда указанія Левенфельда. «Безъ опасенія смѣшать правду съ вымысломъ» — говоритъ онъ—«можно въ Николаѣ Иртеньевѣ.. видѣть самого Толстого въ годы юности» (стр. 28). На стр. 41-й, замѣчая, что «источникъ перваго произведенія Толстого — стремленіе къ признаніямъ», Левенфельдъ указываетъ и на то, что князь Нехлюдовъ есть alter ego Николая Иртеньева. «Иртеньева и Нехлюдова» — поясняетъ онъ далѣе, стр. 57—«можно разсматривать, какъ двѣ части болѣе высокаго единства, воплощеннаго въ самомъ Толстомъ».

Нѣтъ надобности приводить здѣсь образчики превосходнаго художественнаго анализа, впервые произведеннаго Толстымъ въ этихъ первыхъ его повѣстяхъ и направленнаго преимущественно на психію самого автора въ разныя эпохи его развитія. Пусть читатель припомнитъ или перечитаетъ тѣ страницы, гдѣ такъ мѣтко и тонко разбираются различныя душевныя состоянія рассказчика, гдѣ такъ правдиво раскрывается его внутренній міръ. Укажу здѣсь только на слѣдующія двѣ важныя и характерныя черты.



Первая состоитъ въ томъ, что психологія ребенка, отрока и юноши, изображенная въ трехъ автобіографическихъ опытахъ Толстого, не есть психологія обобщеннаго, общечеловѣческаго ребенка, отрока и юноши, а самымъ тѣснымъ образомъ приурочена къ средѣ, національной почвѣ и эпохѣ: это специально психологія русской, великосвѣтской, помѣщичьей среды, прослѣженная въ трехъ возрастахъ. Бытовой колоритъ данъ не только въ обстановкѣ, во внѣшнихъ проявленіяхъ и въ способѣ выраженія душевныхъ состояній, которыя въ существѣ своемъ остаются, конечно, человѣческими вообще, но онъ внесенъ, если можно такъ выразиться, въ самый механизмъ этихъ душевныхъ состояній, — и въ силу такой окраски эти послѣднія, не переставая быть общечеловѣческими, вызываютъ въ читателѣ особый интересъ не къ своей общечеловѣческой основѣ, а къ своей бытовой окраскѣ. Въ «Дѣтствѣ» и «Отрочествѣ» наше заинтересованное вниманіе сосредоточивается специально на психологіи «барчука», въ «Юности» — на психологіи молодого человѣка *comme il faut*. Въ этомъ отношеніи три автобіографическія повѣсти приближаются къ типу настоящихъ мемуаровъ и бытовыхъ картинъ: это въ тѣсномъ смыслѣ *великосвѣтскіе* очерки. Тутъ, въ самомъ началѣ дѣятельности Толстого, ярко обнаружился его субъективизмъ и эмпиризмъ. Художники объективнаго склада, художники-наблюдатели, какъ Шекспиръ, Пушкинъ, Тургеневъ, могутъ, сколько угодно, наряжать своихъ героевъ въ національный костюмъ и приурочивать ихъ къ определенной, строго-ограниченной въ пространствѣ и времени, почвѣ, но изъ-подъ національнаго, сословнаго, историческаго и всякаго иного обличья душевныя движенія этихъ героевъ, ихъ характеры и натуры выступаютъ въ той широкой и мощной обобщенности, которая ихъ дѣлаетъ типичными для человѣка вообще, для человѣчества. У Толстого, въ его раннихъ произведеніяхъ преимущественно, а въ послѣдующихъ въ большей или меньшей мѣрѣ, сословное обличье и великосвѣтская психологія героевъ не только служатъ средствомъ придать образамъ необходимую для осуществления художественнаго эффекта конкретность, но вмѣстѣ съ тѣмъ входятъ въ составъ того содержанія, которое ими апперцепируется. Поэтому на читателя изъ другой среды его первыя произведенія и многое въ послѣдующихъ производятъ впечатлѣніе чего-то чуждаго, не своего, чего-то сословнаго, специально великосвѣтскаго. Для всякаго читателя изъ какой-бы то ни было среды, если только онъ человѣкъ образованный и имѣетъ достаточный опытъ жизни, Шекспиръ, Пушкинъ, Тургеневъ — «свой братъ» и сразу кажутся чѣмъ-то близкимъ, роднымъ; Толстой сперва кажется чуждымъ, не своимъ — и только вчитавшись и вникнувъ въ него, только подчинившись обаянію его генія, читатель принимаетъ его въ число «своихъ», въ число художниковъ-учителей и друзей человѣчества:

Вторая, очень важная и уже чисто-личная, а не бытовая, черта, которую мы должны отмѣтить въ трехъ разсматриваемыхъ повѣстяхъ, состоитъ въ слѣдующемъ: здѣсь уже обнаруживается та сторона въ натурѣ Толстого, которая въ послѣдствіи займетъ видное мѣсто въ его художественномъ творчествѣ и, наконецъ, обособившись отъ него, выразится въ его дѣятельности, какъ мыслителя и моралиста. Это именно его неудержимое, какъ-бы органическое влеченіе, съ одной стороны, къ такъ называемымъ «проклятымъ» вопросамъ, съ другой — и въ особенности — къ выработкѣ нравственнаго міровоззрѣнія, даже нравственной догмы. «Въ продолженіе года, во время котораго я велъ уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ, моральную жизнь» — читаемъ въ XIX гл. «Отрочества» — «все отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представлялись мнѣ; и дѣтскій слабый умъ мой со всею жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую ступень, до которой можетъ достигнуть умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему».

Въ 50-хъ и даже 60-хъ годахъ эти строки и слѣдующее за ними описаніе головоломныхъ метафизическихъ упражненій героя могли казаться читателямъ продуктомъ чисто-объективныхъ замысловъ художника. Непосредственно вслѣдъ за приведеннымъ мѣстомъ читаемъ: «мнѣ кажется, что умъ человѣка въ каждомъ отдѣльномъ лицѣ проходитъ въ своемъ развитіи по тому-же пути, по которому онъ развивается и въ цѣлыхъ поколѣніяхъ, что мысли, служившія основаніемъ различныхъ философскихъ теорій, составляютъ нераздѣльныя части ума, но что каждый человѣкъ болѣе или менѣе ясно сознавалъ ихъ еще прежде, чѣмъ зналъ о существованіи философскихъ теорій». Несмотря на нѣкоторую неясность выраженія въ послѣдней фразѣ, мы все-таки улавливаемъ мысль автора, которая будетъ совершенно вѣрна, если вмѣсто словъ «въ каждомъ отдѣльномъ лицѣ» поставимъ «въ мыслящемъ человѣкѣ»: не все способны задаваться и мучиться отвлеченными вопросами; — большинство живетъ не мудрствуя лукаво; взять хотя-бы брата рассказчика, Володю для него вовсе не существуетъ этого «пути развитія». Какъ-бы то ни было, но, прочитавъ эти строки, читатель 50-хъ или 60-хъ годовъ склоненъ былъ думать, что авторъ просто задался цѣлью — «показать» это «провести эту мысль» на примѣрѣ своего героя, который вслѣдствіе этого получаетъ гораздо больше интереса, чѣмъ напр. Володя, но зато теряетъ въ смыслѣ бытовой типичности: взять любопытный, но рѣдкій случай, — описать «казусъ» неожиданнаго пробужденія философскихъ стремленій въ молодомъ барчкѣ, поставленномъ совершенно въ сторонѣ отъ тѣхъ круговъ, гдѣ эти стремленія такъ или иначе обнаруживались. Случай — всегда возможный въ дѣйствительности, эпизодъ — вполне умѣстный въ мемуарахъ, фотографирующихъ дѣйствительность, но не подхо-

дящий для дѣлей художественности — Философскія упражненія Николая Иртеньева, какъ представлены онъ въ XIX-ой гл. «Отрочества», и его моральныя стремленія, изображенныя въ «Юности», рисуютъ намъ любопытную картину пробужденія и первыхъ шаговъ мощнаго, но въ высокой степени своеобразнаго ума, отмѣченнаго большою склонностью къ рефлексіи и необыкновеннымъ даромъ анализа. Эта картина нисколько не характерна для мыслящей части того круга, къ которому принадлежитъ Ник. Иртеньевъ; она не можетъ быть также названа типичною для философствующей части человѣчества вообще. Она характерна только для Л. Н. Толстого. Теперь, послѣ всего, что написалъ Толстой съ тѣхъ поръ, въ особенности послѣ статей IV-го тома, послѣ «Исповѣди» и сочиненій религиозно-философскихъ и этическихъ, мы уже не можемъ сомнѣваться въ томъ, что XIX-ая глава «Отрочества» и аналогичныя ей мѣста другихъ раннихъ повѣстей Толстого представляютъ собою не *Dichtung*, а самую подлинную *Wahrheit*. Эти страницы не принадлежатъ къ области искусства, это просто — глава изъ автобіографіи необыкновеннаго человѣка, который уже въ ранней молодости не удовлетворялся ходячими понятіями и силится собственнымъ умомъ рѣшить такъ называемые проклятые вопросы и выработать себѣ нормы высшей морали.

Для Толстого здѣсь характерна каждая мелочь. Напр., хотя-бы слѣдующее мѣсто: «Отвлеченныя мысли образуются вслѣдствіе способности человѣка уловить сознаніемъ въ извѣстный моментъ состояние души и перенести его въ воспоминаніе. Склонность моя къ отвлеченнымъ размышленіямъ до такой степени неестественно развила во мнѣ сознаніе, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадалъ въ безвыходный кругъ анализа своихъ мыслей, я не думалъ уже о вопросѣ, занимавшемъ меня, а думалъ о томъ, о чемъ я думалъ. Спрашивалъ себя: о чемъ я думаю? — я отвѣчалъ: я думаю, о чемъ я думаю. А теперь о чемъ я думаю? — я думаю, что я думаю, о чемъ я думаю, и т. д. Умъ за разумъ заходилъ...» («Отроч.», гл. XIX). Это были первыя пробы, это была ребяческая игра той мощной мысли, которая впоследствии дастъ несравненные образцы психологическаго анализа. Подобно тому, какъ будущій великій изобрѣтатель уже въ дѣтствѣ начинаетъ упражнять свой даръ на игрушкахъ и другихъ вещахъ, разбирая и портя часы и т. д., какъ будущій великій полководецъ играетъ въ солдатки и выдумываетъ небывалыя планы кампаній, мечтая о сраженіяхъ и побѣдахъ и т. п., такъ и будущій великій художникъ-психологъ въ отрочествѣ предавался головоломной — «игрушечной» — работѣ рефлексіи, анализа собственныхъ мыслей и чувствъ. Это были первые — инстинктивные — взмахи крыльевъ орленка.

Въ другихъ разсужденіяхъ, напр. по вопросу о «симметріи», о «пустотѣ», въ упражненіяхъ ума въ скептическомъ направленіи мы узнаемъ

(конечно, не съ точки зрѣнія самого содержанія мыслей, а по общему пошибу, по характеру мышленія) будущаго оригинальнаго философа, который построитъ моральную систему, основанную на чисто субъективныхъ точкахъ зрѣнія и таковыхъ-же приѣмахъ.

Для будущаго реформатора морали, истолкователя Евангелія и провозвѣстника всеобщей реформы основъ жизни путемъ личнаго нравственнаго возрожденія весьма характерны и знаменательны тѣ мѣста въ «Юности», гдѣ выставлены на видъ юношескія стремленія и опыты въ направленіи нравственнаго усовершенствованія. Сюда относится исторія дружбы Николая Иртеньева съ Нехлюдовымъ, ихъ разговоры на тему откровенности и морали, тѣ «добродѣтельныя мысли», которыя связывали друзей («Юность», гл. I), далѣе «правила жизни», которыя задумалъ начертать самому себѣ Николай Иртеньевъ («Юность», гл. V), наконецъ вліяніе церковной исповѣди (гл. VI, VII, VIII).

Какъ извѣстно, «Юность» оканчивается указаніемъ на новый «моральный порывъ», возникшій послѣ разныхъ ошибокъ, уклоненій отъ «правилъ жизни», провала на экзаменахъ и т. д. «Оправившись, я рѣшился снова писать правила жизни и твердо былъ убѣжденъ, что я уже никогда не буду дѣлать ничего дурнаго, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не измѣню своимъ правиламъ. Долго-ли продолжался этотъ моральный порывъ, въ чемъ онъ заключался и какія новыя начала положилъ онъ моему моральному развитію, я разскажу въ слѣдующей, болѣе счастливой половинѣ юности».

IV.

Эта «болѣе счастливая половина юности» не была написана по первоначальному плану, но сюда, очевидно, относится отрывокъ «Утро помѣщика», автобіографическій характеръ котораго стоитъ внѣ сомнѣнія. Въ этомъ очеркѣ, какъ извѣстно, изображены филантропическія затѣи молодого помѣщика Нехлюдова, поставившаго себѣ цѣлью устроить благополучіе своихъ крѣпостныхъ и содѣйствовать ихъ нравственному развитію. Вотъ что говоритъ Левенфельдъ о соответственныхъ стремленіяхъ самого Толстого: «Какимъ восторгомъ наполняло его душу сознаніе, что ему принадлежитъ такъ много людей, и что онъ можетъ стать для нихъ отцомъ и совѣтникомъ... Онъ, рѣшивъ выйти изъ университета, поставилъ себѣ цѣлью — осуществить въ своемъ маленькомъ царствѣ свои идеалы» (стр. 28—30). Неудачи Нехлюдова совпадаютъ съ слѣдующимъ свидѣтельствомъ Левенфельда о Толстомъ: «Толстой долженъ былъ самому себѣ сознаться, что его тетка Ерпольская, предостерегавшая его отъ чересчуръ блестящихъ надеждъ, была права, когда утверждала, что легче устроить свое личное счастье, чѣмъ доставить его другимъ» (стр. 32).

Такимъ образомъ, въ «Утрѣ помѣщика» слѣдуетъ видѣть продолженіе автобіографіи. Wahrheit, а не Dichtung: этотъ рассказъ, по словамъ Левенфельда, «почти цѣликомъ представляетъ собою самоописание: Нехлюдовъ—это Толстой». (Стр. 62).

Выше мы привели нѣкоторыя соображенія, объясняющія, почему вторая часть юности или зрѣлый возрастъ не былъ написанъ цѣликомъ. Къ сказанному нужно прибавить еще расширеніе кругозора, жажду новыхъ впечатлѣній, возникновеніе новыхъ художественныхъ замысловъ. На одинъ изъ таковыхъ, впрочемъ совпадающій съ автобіографическимъ направленіемъ творчества, указываетъ Левенфельдъ на стр. 58—59: «... въ немъ зародился планъ... дать типъ русскаго помѣщика. Планъ этотъ опирался въ надежду Толстого провести всю свою жизнь въ имѣніи и изъ своего собственнаго опыта почерпнуть матеріалъ для большого романа «Русскихъ помѣщиковъ». Здѣсь-же указано, что «Утро помѣщика» можетъ быть разсматриваемо, какъ отрывокъ, сюда именно относящійся. Но этимъ замысламъ не суждено было осуществиться. Толстому теперь нужны были новыя впечатлѣнія, изъ которыхъ его самоанализъ могъ-бы почерпнуть новыя стимулы, новыя точки опоры—въ сравненіи себя съ другими натурами, въ провѣркѣ своего внутренняго міра данными новаго внутренняго опыта. Эти новыя впечатлѣнія и стимулы далъ Толстому Кавказъ,—и результатомъ было созданіе великолѣпной «кавказской повѣсти»—*Казакъ*, въ которой впервые гений Толстого проявился во всемъ своемъ блескѣ. Здѣсь насъ интересуетъ собственно герой этой повѣсти—*Оленинъ*, поскольку онъ является продуктомъ все того-же автобіографическаго субъективизма. Сперва приведемъ относящіяся сюда свѣдѣнія изъ книги Левенфельда. «Онъ (Толстой) проигралъ больше, чѣмъ позволяли ему его средства, и рѣшилъ—чего-бы не сдѣлалъ безъ внѣшняго давленія—послѣдовать за братомъ на Кавказъ». (Стр. 35). «И здѣсь (на Кавказѣ) Толстой сблизился съ народомъ съ такимъ-же удовольствіемъ, съ какимъ онъ раньше заботился о своихъ яснополянскихъ крестьянахъ... Онъ подружился съ казакомъ *Епишкой*, хорошо знавшимъ мѣстность и народъ, ходилъ съ нимъ въ горы и на охоту, никогда не упуская случая срисовывать характерныя типы населенія или мѣстности, обращавшіе на себя его особое вниманіе, и заносить эти рисунки въ свою книжечку». (Стр. 35). Нѣсколько позже, при содѣйствіи своего дяди, адъютанта кн. Барятинскаго, онъ зачисляется въ 4-ю баттарею 20-й бригады. «Бригада эта помѣшалась въ казацкой деревнѣ Старогладовѣ, на лѣвомъ берегу Терека». (Стр. 36). «*Кавказская повѣсть 1852 г.*—озаглавилъ Толстой свой рассказъ, какъ-бы указывая этимъ названіемъ, что въ его повѣсти нашли себѣ мѣсто событія изъ жизни самого автора. Правда, и безъ этого указанія не трудно было-бы въ *Оленинѣ* узнать нашего писателя съ его пытливымъ и неутомимо ищущимъ истины духомъ. Впро-

чемъ, въ основу самой фабулы разсказа легло событіе не изъ жизни Толстого, а изъ жизни одного офицера, который разсказалъ о немъ Льву Николаевичу ночью во время совмѣстнаго путешествія». (Стр. 72). Любопытно, что запасъ кавказскихъ наблюденій, собранный еще въ 1852 г., былъ обработанъ гораздо позже. «Казакъ» были закончены только въ 1861 г. (Левенфельдъ, стр. 66).

Запасшись этими свѣдѣніями, обратимся къ анализу фигуры Оленина.

Молодой аристократъ, неудовлетворенный жизнью въ свѣтѣ, бѣгущій отъ пустоты, искусственности и фальши этой жизни, исполненный горечью сознанія собственныхъ ошибокъ и уклоненій отъ намѣченнаго идеала,—это образъ, безспорно построенный на данныхъ самонаблюденія. Это—самъ Л. Н. Толстой въ началѣ 50-хъ годовъ, и повѣсть «Казакъ», по праву, можетъ быть разсматриваема, какъ глава изъ художественной автобіографіи Толстого. Характеристика Оленина, въ первыхъ трехъ главахъ, въ общемъ и въ нѣкоторыхъ частностяхъ вполне согласуется съ тѣмъ, что мы знаемъ о Толстомъ въ соответствующую эпоху его жизни. И это сходство представляется не только внѣшнимъ, но и внутреннимъ, идущимъ въ глубь интимныхъ движеній души, захватывающимъ индивидуальныя особенности ума и натуры Толстого: фигуру Оленина нужно признать списанною авторомъ съ самого себя—не потому только, что Оленинъ—аристократъ, богатъ, молодъ, скучаетъ въ свѣтѣ, проигрался и жаждетъ новыхъ, освѣжающихъ впечатлѣній, но главнымъ образомъ—потому, что въ Оленинѣ выведена натура незаурядная, можно сказать даже—исключительная. Здѣсь, стало-быть, повторилось то, что выше мы отмѣтили въ трехъ первыхъ автобіографическихъ повѣстяхъ: герой—не типъ, а совершенно своеобразная индивидуальность, только съ весьма ярко выраженной сословной (великовѣтской) психологіей.

Прочтемъ сперва слѣдующее любопытное въ автобіографическомъ отношеніи мѣсто: «онъ раздумывалъ надъ тѣмъ, куда положить всю эту силу молодости, только разъ въ жизни бывающую въ человѣкѣ: на искусство-ли, на науку-ли, на любовь-ли къ женщинѣ,—или на практическую дѣятельность, на силу ума, сердца, образованія,—тотъ не повторяющійся порывъ, ту на одинъ разъ данную человѣку власть сдѣлать изъ себя все, что онъ хочетъ и какъ ему кажется, и изъ всего міра—все, что ему хочется. Правда, бываютъ люди, лишенные этого порыва, которые, сразу входя въ жизнь, надѣваются на себя первый попавшійся хомутъ и честно работаютъ въ немъ до конца жизни. Но Оленинъ слишкомъ сильно сознавалъ въ себѣ присутствіе этого всемогущаго бога молодости, эту способность превратиться въ одно желаніе, въ одну мысль, способность захотѣть и сдѣлать, броситься головой внизъ въ бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачѣмъ. Онъ носилъ въ себѣ это

сознание, быть гордъ имъ и, самъ не зная этого, быть счастливъ имъ». («Казаки», гл. II).

Эти сильные, беспорядочно-выброшенные изъ души слова рисуютъ намъ Оленина, какъ человѣка незауряднаго, и въ то-же время не оставляютъ сомнѣнйя въ томъ, что они сказаны авторомъ о самомъ себѣ: въ нихъ чувствуется та могучая сила, которая бродила въ Толстомъ, ища себѣ выхода и приложеня, — сила, которая могла ему самому казаться лишь даромъ «бога молодости», но въ дѣйствительности была независима отъ послѣдняго: она никогда не переставала бродить и искать, творить и опять искать, проявляясь и въ великихъ созданяхъ искусства, и въ смѣлыхъ попыткахъ своеобразной общественной дѣятельности. Быть можетъ, до сихъ поръ еще эта сила не исчерпана.

Оленинъ — натура оригинальная, самобытная, съ умомъ пытливымъ, вѣчно ищущимъ; эти исканя всегда направлены внутрь, на выработку нравственного идеала, который-бы доставилъ ему полное внутреннее удовлетвореніе, полный миръ его душѣ. Все это въ высокой степени характеризуетъ самого Л. Н. Толстого, о которомъ съ полнымъ правомъ можно сказать то, что говорится въ XXIII-ей главѣ объ Оленинѣ: онъ «жилъ всегда своеобразно и имѣлъ безсознательное отвращеніе къ избитымъ дорожкамъ». Какъ и Л. Н. Толстой, Оленинъ дѣлаетъ неожиданныя открытія въ сферѣ нравственныхъ истинъ. Въ XIX-й главѣ онъ вдругъ открылъ путемъ созерцательнаго самоуглубленя, слѣдующую истину: «и вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ. — Счастье вотъ что. — сказалъ онъ самому себѣ: — счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья. — стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобства жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желанія. Слѣдовательно, эти желаня незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія-же желаня всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на вѣшнія условія, какія? — Любовь, самоотверженіе! — Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскопчилъ и въ нетерпѣннй сталъ искать, для кого-бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому-бы сдѣлать добро, кого-бы любить».

Эти мысли о самоотверженнй весьма причудливымъ образомъ переплетались въ душѣ Оленина съ его протестомъ противъ прежней жизни и стремленіемъ отречься отъ своего круга и «опроститься». Въ главѣ XXVI-ой мы узнаемъ, что его оскорбляли письма отъ родныхъ и друзей, сокрушавшихся о немъ, какъ о погибшемъ человѣкѣ: «онъ самъ считалъ погибшими всѣхъ тѣхъ, кто не велъ такую жизнь, какъ онъ» (въ станицѣ). — «Онъ былъ убѣжденъ, что никогда не будетъ раскаи-

ваться въ томъ, что оторвался отъ прежней жизни и такъ уединенно и своеобразно устроился въ станицѣ». — «Развѣ — думалъ онъ — желаніе быть простымъ казакомъ, жить близко къ природѣ, никому не дѣлать вреда, а еще дѣлать добро людямъ, развѣ мечтать объ этомъ глупѣе, чѣмъ мечтать о томъ, о чемъ я мечталъ прежде, — быть, напр., министромъ, быть полковымъ командиромъ?» — Это стремленіе къ «опрощенію» было только крайнимъ выраженіемъ или послѣднимъ звеномъ въ развитіи тѣхъ чувствъ, съ которыми Оленинъ покинулъ Москву и поселился въ станицѣ. Можно прослѣдить это душевное движеніе шагъ за шагомъ. Сперва это была просто потребность душевнаго освѣженя, которое и было имъ достигнуто сплюю новыхъ впечатлѣній, усталостью дороги, рѣзкимъ контрастомъ между утонченностью и искусственностью жизни въ свѣтѣ и простотою и грубостью той, которая теперь открывалась ему и манила къ себѣ. Еще дорогою, по мѣрѣ того, какъ исчезали послѣдніе слѣды «цивилизаци», — «Оленину становилось веселѣе и веселѣе. Всѣ казаки, ямщики, смотрителя — казались ему простыми существами, съ которыми ему можно было просто шутить, бесѣдовать, *не соображая, кто къ какому разряду принадлежитъ. Всѣ принадлежали къ роду человѣческому, который былъ весь безсознательно милъ Оленину...*» (гл. III). — Устроившись въ станицѣ, онъ «испытывалъ молодое чувство безпричинной радости жизни...» — «старая жизнь была стерта, и началась новая... — На душѣ у него было свѣжо и ясно...» — «Величавое чувство природы» также вносило сюда свою долю влїяня. (Гл. XI). — Все вмѣстѣ взятое, и это освѣженіе души, и наблюденіе новыхъ для него типовъ, и рѣзкій контрастъ между новой жизнью и прежней, и влїяніе величавой природы горъ, дикихъ мѣстъ, опасностей и т. д. вызвало въ Оленинѣ то особое и очень для него характерное состояніе духа, которое такъ мѣтко схвачено въ описаннй думъ Оленина на охотѣ, въ слѣдующемъ мѣстѣ главы XIX-ой: «И вдругъ на него напало странное чувство *безпричиннаго счастья и любви ко всему...* Ему вдругъ съ особенною ясностью пришло въ голову, что вотъ я, Дмитрій Оленинъ, *такое особенное отъ всѣхъ существо*, лежу теперь одинъ. Богъ знаетъ гдѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ жилъ олень... И ему стало ясно, *что онъ нисколько не русский дворянинъ, членъ московскаго общества, другъ и родня того-то и того-то*, а просто такой-же комаръ, или такой-же фазанъ, или олень, какъ и тѣ, которые живутъ теперь вокругъ него...» Оттуда уже одинъ шагъ къ мечтамъ объ «опрощеннй». Но отсюда также и переходъ къ новой теоріи «не эгоистическаго счастья»: «такъ-же, какъ они (олени, фазаны, комары и т. д.) какъ дядя Брошка, поживу, умру» — продолжаетъ размышлять Оленинъ — «только трава вырастетъ...» А все-таки «надо жить, быть счастливымъ, потому что я только одного желаю — счастья... Какъ-же надо жить, чтобы быть счастливымъ, и от-

чего я не былъ счастливъ прежде?»—Заспимъ слѣдуетъ вышеприведенное разсужденіе о неагонистическомъ счастьѣ, —открытіе «новаго» нравственнаго закона.

Вся эта сложная работа чувствъ и думъ, возникшая въ душѣ Оленина, была неизбежнымъ слѣдствіемъ двухъ основныхъ условій: во-первыхъ, того факта, что Оленинъ принадлежалъ къ русскому великосвѣтскому кругу, а не былъ «простымъ смертнымъ», и во-вторыхъ, того обстоятельства, что онъ обладалъ исключительной натурой, такой самой, какою обладаетъ Л. Н. Толстой. Огромная важность обоихъ условій наглядно представлена введеніемъ въ разсказъ типичной великосвѣтской фигуры *Бѣлецкаго*, являющагося въ ту-же станицу, гдѣ живетъ Оленинъ. Бѣлецкій—такой самый аристократъ, членъ московскаго общества, русскій дворянинъ и пр., какъ и Оленинъ. *Это тотъ-же Оленинъ*, но только—*минусъ* его пылкій умъ, его неугомонное нравственное чувство, его отвращеніе къ избитымъ дорожкамъ. Если когда-либо въ Оленинѣ эти его индивидуальныя черты на время ступаютъ, если онъ перестанетъ—до поры до времени—стремиться къ нравственному самосовершенствованію, мечтать о настоящемъ, непризрачномъ счастьѣ и т. д., то онъ будетъ тотъ-же Бѣлецкій. Разница между этими двумя величинами та, что Оленинъ временно можетъ превратиться въ Бѣлецкаго, Бѣлецкій-же въ Оленина никогда, ни при какихъ условіяхъ превратиться не можетъ. Черты внутренняго, сословно-психологическаго сродства Оленина съ Бѣлецкимъ ясно отмѣчены напр. въ слѣдующемъ мѣстѣ: «Такъ и пахнуло на него (съ пріѣздомъ Бѣлецкаго) всею тою гадостью, отъ которой онъ отрекся. Досаднѣе-же всего ему было то, что онъ не могъ, рѣшительно не былъ въ силѣ оттолкнуть отъ себя этого человека изъ того міра, какъ будто этотъ старшій, бывшій его мѣръ имѣлъ на него неотразимая права» (гл. XXIII). Характерно здѣсь-же то, что Оленинъ сразу впадаетъ, противъ воли и съ чувствомъ досады на себя, въ тонъ Бѣлецкаго, такъ-же, какъ и онъ, съ презрѣніемъ и аристократической брезгливостью отзывается, пересыная рѣчь французскими словами, о товарищахъ-офицерахъ (конечно, не «своего», великосвѣтскаго круга), о казакахъ и т. д. Очевидно, Оленину, все-таки, легко съ Бѣлецкимъ, въ лицѣ послѣдняго явилась какъ-бы часть его собственнаго «я», которую онъ считалъ оставленною въ Москвѣ, та сословно-психологическая «форма», въ силу которой онъ, не по убѣжденію, а именно вопреки убѣжденіямъ, вопреки голосу нравственнаго чувства, безсознательно, инстинктивно дѣлилъ людей на разряды и смотрѣлъ на себя, какъ на существо особенное, потому что онъ—«русскій дворянинъ, членъ московскаго общества, родня того-то и того-то».

Когда впервые Оленинъ вышелъ на трудный и неблагоприятный подвигъ борьбы съ гнетомъ сословной психологии, ему казалось, что стоитъ

только усвоить новые взгляды на людей и вещи, выработать сознательный идеалъ, и дѣло будетъ сдѣлано: онъ переродится и станетъ совсѣмъ другимъ человекомъ. Ему казалось также, что онъ выступаетъ противъ чего-то внѣшняго, противъ взглядовъ, привычекъ, наклонностей, лишь механически усвоенныхъ. Стоитъ только уйти отъ «общества» подалее и оно потеряетъ свои права свою власть надъ нимъ, и всѣ усвоенныя имъ привычки, предрасудки и пр. разлетятся въ прахъ. Съ пріѣздомъ Бѣлецкаго онъ начинаетъ догадываться, что это была иллюзія. Въ немъ постепенно зрѣетъ мысль, что противникъ находится въ немъ самомъ, что тутъ дѣло идетъ о борьбѣ гораздо болѣе сложной и трудной, борьбѣ одной половинны его «я» съ другою, и передвиженіе въ пространствѣ, переменна всѣхъ условій жизни тутъ ни при чемъ. Но эта мысль могла созрѣть и стать вполне очевидною только послѣ долгаго искуса внутренней борьбы, послѣ всѣхъ разочарованій, которыя пришлось испытать Оленину. А пока она только исподволь заявляла о себѣ въ формѣ того «голоса», который въ самый разгаръ его пылкихъ стремленій «бросить все, приписаться въ казаки, купить избу, скотину, жениться на казачкѣ» и т. д. «говорилъ ему, чтобъ онъ подождалъ и не рѣшался». Характерно то, что тутъ-же этотъ «голосъ» отождествляется съ «смутнымъ сознаниемъ, что онъ не можетъ жить вполне жизнью Ерочки и Лукашки, потому что у него есть другое счастье: его удерживала (отъ рѣшительнаго шага къ «опрошенію») мысль о томъ, что счастье состоитъ въ самоотверженіи» (гл. XXVI). Изъ-подъ этихъ мыслей, колебаній, стремленій и сомнѣній совершенно ясно сквозитъ основной психологическій процессъ: борьба выдающейся личности, ищущей своихъ путей въ жизни и широкаго *человѣческаго* идеала, съ гнетомъ узкой сословной психологии, въ немъ-же заложенной, стало-быть, борьба съ самимъ собою, приводитъ психологически-последовательно къ двумъ параллельнымъ стремленіямъ, къ опрошенію и исканію нравственнаго идеала. Но эти два стремленія, по мѣрѣ своего развитія, расходятся въ противоположныя стороны и оказываются далеко не согласуемыми; въ близкомъ будущемъ уже предвидится неизбежный конфликтъ между ними. «Опрошеніе», последовательно до конца проведенное, какъ того и хотѣлъ Оленинъ, привело-бы его къ необходимости жить, чувствовать, думать такъ, какъ живутъ, чувствуютъ, думаютъ Лукашка и Ерочка. Помимо того, что это было для Оленина психологически невозможно, это не согласовалось съ стремленіями къ нравственному подвигу: въдъ жизнь Лукашки и Ерочки, при всей ея простотѣ, не есть нравственный подвигъ. Кажущіеся выходъ изъ этого противорѣчія представлялся въ слѣдующемъ компромиссѣ: «опроститься» не вполне, а только внѣшнимъ образомъ, не передѣлывать своего нравственнаго и умственнаго содержанія по образцу Лукашки и Ерочки, оставаться самимъ собою, но

только жить среди этих простых людей и дѣлать имъ добро, поступаясь своимъ эгоистическими влеченіями. Такая «программа» была, конечно, не изъ легкихъ. Трудности заключались и въ самомъ Оленинѣ, и внѣ его, въ окружающей средѣ. «Онъ постоянно искалъ случая жертвовать собою для другихъ, но случая эти не представлялись. Иногда онъ забывалъ этотъ вновь открытый имъ рецептъ счастья и считалъ себя способнымъ слиться съ жизнью дяди Ерощки: но потомъ вдругъ опоминался, тотчасъ-же хватался за мысль сознательнаго самоотверженія и на основаніи ея, спокойно и гордо смотрѣлъ на всѣхъ людей и на чужое счастье» (гл. XXVI).

Чѣмъ дальше, однако, тѣмъ труднѣе оказывалось осуществить «программу». Новая среда не поняла и не полюбила Оленина. На него смотрѣли съ недоумѣніемъ и разныя его попытки самоотвергаться и дѣлать добро перетолковывались въ превратномъ смыслѣ. Онъ жилъ среди казаковъ чужимъ и одинокимъ. Одинъ только дядя Ерощка его любилъ; но онъ считалъ Оленина чѣмъ-то въ родѣ порченнаго и жалѣлъ его. Вскорѣ Оленину пришлось убѣдиться, что откажись онъ отъ своей мечты—опроститься и отъ исканія нравственныхъ подвиговъ и превратись въ обыкновеннаго *барина*, по-барски относящагося къ народу, — его скорѣе-бы поняли и полюбили: это стало очевидно ему на примѣрѣ Вѣлецкаго, передъ которымъ даже Марьянка не дичилась.—Наконецъ, разгорѣвшаяся любовь въ Марьянѣ окончательно смутала эти сложныя душевныя движенія, и въ душѣ Оленина водворился настоящій хаосъ. Въ любопытномъ письмѣ (гл. XXIII), въ которомъ Оленинъ подводитъ итоги этому хаосу, сильными и мѣткими чертами изображенъ контрастъ между искусственной и лживой жизнью въ «свѣтѣ», гдѣ «вѣчная скука въ крови, переходящая изъ поколѣнія въ поколѣніе», и жизнью въ станціѣ, гдѣ онъ «созерцаетъ» «вѣчные непреступные снѣга горъ и величавую женщину въ первобытной красотѣ...» Оленинъ сознается здѣсь, что онъ оказался непригоднымъ для этой безыскусственной жизни.—однимъ-же «созерцаніемъ» удовлетвориться не могъ. «Я пробовалъ, — пишетъ онъ. — отдаваться этой жизни и еще сильнѣе чувствовалъ свою слабость, свою изломанность. Я не могъ забыть себя и своего сложнаго, негармоническаго, уродливаго прошедшаго. И мое будущее представляется мнѣ еще безнадежнѣе...» Далѣе онъ описываетъ свою любовь къ Марьянкѣ; оказывается, что эта какая-то совсѣмъ особенная любовь, не платоническая и не плотская,—любовь, о которой онъ выражается такъ: «...черезъ меня любить ее какая-то стихійная сила, весь міръ Божій, вся природа вдавливаетъ любовь эту въ мою душу и говоритъ: люби». И вотъ огонь этой пантеистической любви испепелилъ всѣ благородныя мечты Оленина о самоотверженіи. «Я писалъ прежде»—продолжалъ онъ, — «о своихъ новыхъ убѣжденіяхъ... Никто не можетъ знать, какимъ трудомъ разработа-

лись они во мнѣ, съ какою радостью созналъ я ихъ и увидѣлъ новый, открытый путь въ жизни... Дороже этихъ убѣжденій ничего во мнѣ не было... Ну... пришла любовь, и ихъ нѣтъ теперь, нѣтъ и сожалѣнія о нихъ!.. Самоотверженіе — все это вздоръ, дичь. Это все гордость, убиженіе отъ заслуженнаго несчастья, спасеніе отъ зависти къ чужому счастью...»

Такимъ образомъ, онъ рѣшительно отказывается — на этотъ разъ — отъ того нравственнаго идеала, который онъ себѣ поставилъ, отъ исканія неэгоистическаго счастья. Ослѣпленный любовью, онъ жаждетъ теперь счастья обыкновеннаго, эгоистическаго, но только не въ «свѣтѣ», который ему противенъ, а среди новой для него, простой жизни, къ которой онъ, однако, не приспособленъ,—въ общеніи съ некультурнымъ народомъ и дикой природой. Но этотъ народъ его не понялъ и не принял, Марьянка его отвергла, и онъ уѣзжаетъ, съ горечью и обидой въ душѣ, напутствуемый общимъ равнодушіемъ. Одинъ только дядя Ерощка выказываетъ доброе къ нему отношеніе. «Вѣдь я тебя люблю, я тебя какъ жалѣю! Такой ты горькій, все одинъ, все одинъ. Нелюдимый ты какой-то!..» говорить онъ ему на прощаніе и тутъ-же спрашиваетъ у него «флинтку».

V.

Оленинъ уѣзжаетъ, потерпѣвъ полное крушеніе въ своихъ стремленіяхъ къ опрощенію и проведенію въ жизнь нравственнаго идеала. Опытъ не удался. Но отсюда еще не слѣдуетъ, что Оленинъ долженъ успокоиться и навсегда отказаться отъ другихъ попытокъ. Нѣтъ, онъ не перестанетъ избѣгать избитыхъ дорогъ въ жизни и, умудренный опытомъ, обогащенный знаніемъ людей и жизни, воспринявъ и по своему переработавъ массу идей, онъ снова выйдетъ на путь исканія. Попржнему онъ будетъ жаждать душевнаго обновленія въ общеніи съ народомъ. Онъ уйдетъ отъ свѣта къ деревню, гдѣ устроитъ оригинальную школу для народа, совсѣмъ не похожую на другія школы, когда-либо существовавшія, онъ напишетъ рядъ блестящихъ, мѣстами глубокихъ, мѣстами парадоксальныхъ статей по вопросамъ элементарнаго образованія. Въ этой области онъ пойдетъ дѣйствительно по своей дорогѣ, по которой никто никогда не ходилъ. Потомъ, неудовлетворенный и этой, хотя и плодотворной, но какъ-бы внѣшней дѣятельностью, онъ снова примется за внутреннюю переработку себя самого и своихъ отношеній къ окружающему міру. Свой протестъ противъ «свѣта» онъ выразитъ теперь иначе, не въ видѣ горячихъ тирадъ, какъ въ томъ достопамятномъ письмѣ изъ станціи, а въ видѣ художественнаго изображенія людей великосвѣтскаго круга, взятаго на этотъ разъ не въ его маленькомъ «міркѣ», а въ его обширномъ «мірѣ», въ его исторической роли. Здѣсь онъ найдетъ то

противодіе противъ отравы крайностями сословной психологіи, о которомъ мы говорили выше. На этомъ пути вдумчивыхъ наблюдений и глубокозахватывающаго историческаго изученія онъ встрѣтитъ много человѣчески-важнаго и сдѣластъ великія художественныя открытія. Онъ станетъ «великимъ писателемъ земли русской».

И съ высоты этихъ новыхъ художественныхъ созерцаній онъ снова увидитъ себя самого и закончитъ этотъ періодъ своей жизни и дѣятельности изображеніемъ себя, со своимъ протестомъ, исканіями и стремленіями, въ образѣ *Левина*.

Левинъ, аристократъ по рожденію и воспитанію, не можетъ, однако, примириться съ жизнью въ свѣтѣ. Онъ ушелъ отъ свѣта въ деревню; свою дѣятельность, какъ помѣщика и сельскаго хозяина, онъ очень цѣнитъ, какъ настоящее, разумное дѣло, какъ здоровую жизнь въ непосредственной связи съ народомъ и землею; городскую жизнь, вообще, великосвѣтскую и чиновную, въ частности, онъ отрицаетъ всѣмъ своимъ существомъ, считая ее пустою, бездѣльною, лживою, искусственною. Жизнь помѣщика въ деревнѣ для него теперь психологически то самое, что для Оленина жизнь въ ставицѣ. Только теперь ужъ нѣтъ мечты на тему объ «опрошеніи». И само счастье, котораго ищетъ Левинъ, далеко не то самоотверженное, неэгоистическое счастье, о которомъ когда-то мечтали Оленины. Левинъ хочетъ счастья личнаго, разумно-эгоистическаго и находитъ его въ бракѣ съ Кити, въ своей семейной жизни. Задача, казалось, рѣшена, цѣль достигнута: счастливая семейная жизнь, разумный трудъ надъ землею, постоянное общеніе съ народомъ, отсутствіе тягостныхъ свѣтскихъ обязательствъ, всего этого Левинъ достигъ. И, разумеется, онъ на этомъ-бы и успокоился, будь онъ просто «Левинъ», одинъ изъ многихъ и многихъ. Но, какъ извѣстно, онъ не просто «Левинъ», онъ самъ Л. Н. Толстой,—и, какъ таковой, онъ, конечно, успокоиться не можетъ. Никакое личное счастье не способно убавлять его души, вѣчно стремящейся въ даль идеала, его ума, всегда надъ собою бодрствующаго, его нравственнаго чувства, всегда неудовлетвореннаго. Левинъ не успокоится. Онъ пойдетъ дальше. Въ послѣднихъ главахъ «Анны Карениной» онъ уже тронулся въ новый, можетъ быть, труднѣйшій путь изъ всѣхъ путей, какими, подъ разными именами: Иртеньева, Нехлюдова, Оленина, онъ шелъ доселѣ. Важные и вѣковѣчные вопросы о нравственномъ началѣ, о религіозной стихіи, объ идеальныхъ цѣляхъ встаютъ въ его сознаніи. Онъ размышляетъ на тему о томъ, составляетъ-ли борьба за существованіе и эгоизмъ верховный законъ всего сущаго, подчиненъ-ли человѣкъ этому «железному» закону. Онъ «открываетъ», что есть иной законъ, которому подвѣдомственъ человѣкъ, какъ существо нравственное. Это логически приведетъ Левина къ изученію вопросовъ религіозныхъ и этическихъ, къ критикѣ различныхъ религіоз-

ныхъ системъ и моральныхъ доктринъ. Дѣло трудное, оно потребуетъ усидчиваго труда многихъ лѣтъ надъ предметами, для которыхъ Левинъ не имѣлъ столь необходимой специальной подготовки, наиримѣръ, надъ Греческимъ текстомъ Евангелія, надъ еврейскимъ—Библии. Всѣ вышнія трудности преодолѣтъ онъ (преодолѣтъ-ли внутреннія, вытекающія изъ требованій научнаго метода и широкихъ идей современной исторической и филологической науки,—это другой вопросъ), все выучитъ, что нужно, и въ свое время выступитъ въ новой роли, столь неподходящей къ русскому дворянину и помѣщику, въ роли религіознаго проповѣдника и реформатора морали.

VI.

Весь этотъ рядъ образовъ, — Николай Иртеньевъ, Нехлюдовъ, Оленинъ, Левинъ,—рисуетъ намъ самого Л. Н. Толстого въ различные эпохи его жизни и въ различныхъ фазисахъ его нравственнаго развитія. Это, такъ сказать, 4 главы изъ его психологической автобіографіи. И то, что выше мы сказали о Николаѣ Иртеньевѣ, въ общемъ примѣнимо и къ остальнымъ тремъ фигурамъ: онѣ изображаютъ личность исключительную, онѣ—слишкомъ *портреты*, чтобы быть общечеловѣческими художественными обобщеніями. Съ тѣмъ вмѣстѣ въ нихъ слишкомъ ярки и свѣжи тѣ краски, которыми изображена ихъ національная и сословная сторона.

Чтобы художественный образъ, представляющій и истолковывающій какую-нибудь вѣковѣчную сторону человѣческаго духа, былъ *общечеловѣчески-типиченъ*, какъ напр. Лиръ, Отелло, Гамлетъ, Донъ-Кихоть, необходимо, помимо всего прочаго, соблюденіе слѣдующаго важнаго условія: такой образъ не долженъ быть ужъ очень типиченъ и яростъ въ смыслѣ національномъ, сословномъ, бытовомъ, — *эта* сторона въ немъ должна быть поставлена и отгѣнена такъ, чтобы не мѣшать общечеловѣческому содержанію и интересу его выступать властно и мощно въ воспріятіи читающихъ поколѣній. Имя дѣло съ Антигоной, съ Гамлетомъ, Отелло, Донъ-Кихотомъ, мы весьма мало вниманія удѣляемъ совокупности тѣхъ чертъ, которыми первая изображена какъ гречанка *своего* времени, второй—какъ датскій принцъ, третій—какъ мавръ, четвертый—какъ испанецъ извѣстной эпохи. Но когда передъ нами Оленинъ или Левинъ, то, какъ ни подчеркнуты, какъ ни ярко выставлены на видъ извѣстныя стороны человѣческаго духа, въ нихъ вложенныя, какой-бы живой общечеловѣческой интересъ ни представляли ихъ стремленія къ нравственному идеалу, ихъ протестъ противъ искусственнаго и несправедливаго уклада общественныхъ отношеній,—мы никакъ не можемъ отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что это прежде всего и въ особенности русскіе баричи, русскіе дворяне, помѣщики, представители нашего великосвѣтскаго круга. Слишкомъ тутъ «Русью пахнетъ»—да притомъ не всей, а только великосвѣт-

ско-помѣщицѣй,—и этотъ запахъ мѣшаетъ намъ сосредоточиться на ихъ общечеловѣческой сторонѣ,—такъ, чтобы сквозь призму нравственной личности Оленина или Левина мы могли-бы созерцать безчисленное множество аналогичныхъ явленій всѣхъ временъ и народовъ, какъ это созерцаемъ мы сквозь призму напр. Гамлета.

На ряду съ русской сословной типичностью мѣшаетъ этому и чрезмѣрная *портретность* этихъ образовъ.

Но эта самая портретность препятствуетъ и другому художественному эффекту: она отнимаетъ у этихъ образовъ значеніе и интересъ бытовыхъ. Исключительная, одна на всю Россію, личность графа Толстого такъ ясно сквозитъ въ нихъ и такъ импонируетъ намъ, что мы рѣшительно не можемъ воспринимать ихъ въ качествѣ бытовыхъ типовъ.

Итакъ, *общечеловѣческое* въ нихъ ограничено и какъ-бы парализовано (въ художественномъ смыслѣ) *бытовымъ*, а бытовое—*личнымъ*.

Требованія высшей эстетической критики, которой подлежатъ Толстой на ряду съ величайшими художниками всѣхъ эпохъ, *этими* образами не удовлетворяются. Ихъ нельзя причислить къ великимъ и бессмертнымъ созданіямъ искусства. Но въ нихъ есть нѣчто, имѣющее свои особые права на бессмертіе: это именно то, что они портреты великаго человѣка, которымъ не перестанутъ интересоваться отдаленныя поколѣнія во всемъ цивилизованномъ мірѣ, и притомъ—портреты, написанные не посторонней рукой, а самимъ Л. Н. Толстымъ и исполненные съ тѣмъ мастерствомъ рисунка и глубиной и тонкостью психологическаго анализа, которыя такъ свойственны ему, какъ художнику.

Этимъ мы закончимъ обзоръ автобіографическихъ и въ тѣсномъ смыслѣ субъективныхъ образовъ въ произведеніяхъ Толстого. На очереди у насъ теперь тѣ образы, въ созданіи которыхъ его гений проявился во всей своей мощи, и которые представляютъ наиболѣе трудностей для анализа, имѣющаго цѣлью проникнуть въ самый процессъ творчества. Сюда прежде всего относятся *народные типы*.

ГЛАВА III.

Художественныя *открытія* Толстого (народные типы въ «Казакахъ»).

I.

Какъ въ жизни Оленина былъ періодъ, когда онъ бѣжалъ отъ «свѣта» и жаждалъ «опрошенія», такъ и въ творествѣ Толстого была эпоха, когда онъ искалъ новыхъ впечатлѣній и объектовъ для творчества, диаметрально-противуположныхъ тѣмъ, въ кругу которыхъ до тѣхъ поръ оно вращалось. Какъ художникъ, Толстой искалъ и нашелъ на Кавказѣ,

въ казацкой станицѣ, то самое, чего искалъ тамъ и нашелъ Оленинъ, какъ человѣкъ и питомецъ великосвѣтской среды. Разница только въ томъ, что послѣдній въ своихъ стремленіяхъ и мечтахъ потерпѣлъ фіаско, между тѣмъ, какъ первый вышелъ изъ коллизіи съ полнымъ триумфомъ—создавъ высокохудожественные, граничащіе съ гениальностью образы казацкихъ типовъ и картины станичной жизни.

Здѣсь все, начиная съ простого, не претендующаго на художественность и поэтичность описанія станицы въ главахъ IV-й и V-й, отмѣчено необыкновенной свѣжестью впечатлѣній, поразительной яркостью красокъ, цѣльностью, живой характерностью образовъ. По всему видно, что художникъ воспринималъ новыя для него впечатлѣнія не однимъ холоднымъ умомъ любознательнаго туриста, а всею душою, которая жадно ихъ поглощала и гдѣ заранѣе была готова психологическая форма для ихъ воспріятія.

Какъ-бы ни были своеобразны, значительны и ярки новыя, представляющіяся человѣку, впечатлѣнія,—онъ ими заинтересуется, переработаетъ и объяснитъ себѣ ихъ только въ томъ случаѣ, если они ему психологически нужны и если у него уже есть другой запасъ воспріятій, могущій служить для новыхъ орудіемъ и формою апперцепціи. Нужно, чтобы новыя явленія не были случайнымъ и безразличнымъ зрѣлищемъ для наблюдателя, и чтобы послѣдній не былъ для нихъ равнодушнымъ зрителемъ,—нужно, чтобы было нѣкоторое психологическое сродство, извѣстная *Wahlverwandtschaft* между прежнимъ содержаніемъ души наблюдателя и новымъ, впервые ему открывающимся матеріаломъ воспріятій. Въ такихъ именно условіяхъ и находился Толстой, когда наблюдалъ станичную жизнь и народные типы, воспроизведенные въ «Казакахъ». Прежнее содержаніе его души дано въ психологіи Оленина, съ которою мы познакомились выше. На вопросъ: какими движеніями мысли и чувства, какимъ душевнымъ запросомъ и какой мечтою апперцепировалъ Толстой новыя для него впечатлѣнія, изображенныя въ «Казакахъ?»—мы отвѣтимъ такъ: всѣмъ, что дано въ Оленинѣ,—стремленіями его мысли, ищущей новыхъ впечатлѣній, прямо противоположныхъ тѣмъ, которымъ она до тѣхъ поръ питалась, исканіями его души, утомленной жизнью въ свѣтѣ, его мечтою объ опрошеніи и нравственномъ идеалѣ. Такая «форма апперцепціи» не была исключительно головною,—она охватывала всю душу, она основывалась на психологическихъ потребностяхъ, на своего рода духовномъ голодѣ и духовной жадности. Оттуда это непроизвольное, не нарочитое, какъ-бы само собою, точно здоровый органическій процессъ, осуществившееся поглощеніе новыхъ воспріятій, которыя неудержимо проникаютъ въ душу, тотчасъ-же находятъ тамъ ожидающую ихъ психологическую форму и, сливаясь съ нею, быстро перерабатываются въ живые и яркіе образы. Не виденъ



«сочиняющій авторъ», который-бы старался получше изобразить эти фигуры,—но видна живая и живьемъ воспринимающая душа художника (она-же и душа человѣка), въ которой эти образы сами проявились, потому что нельзя было имъ не проявиться. Писателю оставалось только снять съ нихъ копию помощью литературныхъ средствъ, чтобы они могли стать достояніемъ читателя. Послѣдній волея, конечно, понимать и оцѣнивать ихъ по своему; но если онъ хочетъ понять и прочувствовать ихъ такъ, какъ они были апперцепированы душою художника, то онъ долженъ живо представить себѣ тотъ фонъ, на которомъ они проявились у Толстого,—онъ долженъ постоянно имѣть въ виду психологію Оленина и сквозь ея призму смотрѣть на типы казаковъ и картины станичной жизни. Въ этомъ условіи сказался *субъективизмъ* Толстого, проявившійся даже здѣсь, въ созданіи этихъ, столь противоположныхъ самому автору, образовъ. Не то—у Тургенева, въ «Запискахъ охотника»: выведенные тамъ народные типы не требуютъ отъ читателя, чтобы онъ, для полного ихъ пониманія, считался съ психологіей автора и становился на его точку зрѣнія. Поэтому эти образы мы и называемъ *объективными* въ собственномъ смыслѣ, между тѣмъ, какъ народные типы Толстого должны быть признаны лишь *относительно объективными*—по сравненію съ тѣми, которые были построены исключительно на данныхъ самонаблюденія или воспроизводятъ психологію среды, воспринятой Толстого.

Постараемся нагляднѣе показать необходимость при чтеніи «Казаковъ» держаться субъективной точки зрѣнія автора.

Вотъ маленькая сценка изъ станичной жизни въ концѣ главы V-ой (разговоръ двухъ старыхъ казачекъ, изъ котораго мы узнаемъ кое-что о Маріанкѣ и Лукашкѣ), вотъ—въ главѣ VI-ой и VII-ой—сцены на Нижне-Протоцкомъ посту, Лукашка «урванъ», старый дядя Ерощка, Назарка и другіе. Всѣ эти лица, впервые являющіяся передъ читателемъ, ничего пока не дѣлаютъ, только по своему разговариваютъ о своихъ дѣлахъ и заботахъ, обмѣниваются случайными замѣчаніями и т. д. Но этого достаточно, чтобы читатель сразу получилъ живое, хотя пока еще отрывочное представленіе о нихъ, о ихъ бытѣ и нравахъ. Прочитанныя отдѣльно, эти сцены оставляютъ впечатлѣніе этнографическаго наброска въ художественной формѣ и вызываютъ въ читателѣ нѣчто въ родѣ того заинтересованнаго любопытства, какое возникаетъ напр. при чтеніи путешествій, гдѣ описываются бытъ и нравы некультурныхъ племенъ. Чтобы изъ такого любопытства получился искомый эффектъ, нужно читателю стать сперва на точку зрѣнія Оленина: ему нужно подойти къ этимъ людямъ съ нетерпѣливымъ ожиданіемъ найти въ нихъ нѣчто такое, что отложилось-бы въ сознаніи въ видѣ живого душевнаго интереса. Если вамъ до тошноты прискучили тѣ формы жизни и тѣ типы

людей изъ общества, среди которыхъ вы живете, и вами овладѣло страстное желаніе перенестись въ другую жизнь, діаметрально-противуположную,—то вы уже иначе, не съ однимъ лишь этнографическимъ интересомъ или любопытствомъ туриста, отнесетесь къ этимъ народнымъ типамъ. Вы начнете искать въ нихъ чего-то болѣе чѣмъ любопытнаго, вы будете чего-то ожидать отъ нихъ для себя, для переработки вашего внутренняго міра. Эти ваши исканія и ожиданія могутъ и не совпадать съ тѣми, которые двигали Оленинымъ.—но все-таки вы уже стали на аналогичную точку зрѣнія, вы заняли соответственную психологическую позицію. Для наибольшаго приближенія къ позиціи Оленина, нужно представить себѣ ту жизнь въ «свѣтѣ», отъ которой онъ бѣжалъ, да еще не мѣшаетъ перенестись мысленно въ 50-е годы, когда—передъ великою реформою—«открывали» и изучали народъ, когда ознакомленіе съ типами той части русскаго народа, которая никогда въ рабствѣ не была и вѣками воспиталась въ традиціяхъ воинственной свободы, представляло особливый и общественный, и психологическій интересъ. Представимъ себѣ въ самомъ дѣлѣ князя Нехлюдова—онъ-же и Оленинъ—вдругъ, послѣ горькаго опыта въ деревнѣ, перенесшагося въ казацкую станицу: какъ отдохнула-бы его тоскующая душа въ общеніи съ полудикимъ, вольнолюбивымъ, по своему гордымъ народомъ, столь непохожимъ на захудалый крѣпостной народъ!

Читатель легко пойметъ, что, при такихъ условіяхъ, радикально измѣнилось-бы его отношеніе къ казакамъ,—и этнографическая картинка получила бы въ его глазахъ совсѣмъ иное освѣщеніе и иной, болѣе глубокой, смыслъ.

Художественныя произведенія нужно *умѣть* читать, какъ нужно умѣть слушать музыку или смотрѣть на произведенія живописи. Читателю «Казаковъ» я рекомендовалъ-бы при чтеніи главъ V—VII стать по возможности на только-что указанную точку зрѣнія, чему, конечно, помогаетъ и авторъ, давъ въ предшествующемъ психологію Оленина. Но я-бы посоветовалъ помнить и Нехлюдова. При такой подготовкѣ и соответственномъ настроеніи читателя, слѣдующія главы, VIII и IX-я (выслѣживаніе абрековъ и «подвигъ» Лукашки) прочтутся уже не какъ простое продолженіе этнографическаго очерка, а какъ художественно-психологическое изслѣдованіе, немногими ловкими и смѣлыми приемами раскрывающее грубый, но здоровый духъ этихъ «дѣтей природы»,—наивный и простой, чуждый рефлексии и всему, что вноситъ высшая культура, но далеко не лишенный своеобразнаго развитія, содержанія и индивидуальности. Это не безразличная масса, гдѣ всякій Иванъ похожъ на всякаго Петра; въ ней есть личности, натуры, характеры. И дочитавъ до главы X-ой, вы уже будете подготовлены встрѣтить и понять тотъ контрастъ и конфликтъ, которые неизбежны между психіей

этих народных типовъ и сложной, утонченной, склонной къ рефлексии психіей Оленина. вмѣстѣ съ тѣмъ вы сейчасъ-же поймете, что этотъ конфликтъ ничего общаго не имѣетъ съ тѣмъ, который изображенъ въ «Утрѣ помѣщика».

Въ главѣ X-ой (водвореніе Оленина въ станицѣ) вы съ чисто-русскимъ специфическимъ чувствомъ, не поддающимся опредѣленію и едва-ли понятнымъ иностранцу, услышите, какъ славно ругается баба Улита— въ отвѣтъ на привѣтствіе Оленина:—«Здравствуй, матушка! Вотъ я о квартирѣ пришелъ...»—«Что пришелъ? (кричитъ Улита). Насмѣяться хочешь, а? Я-те насмѣюсь, черная на тебя немочь!..» — Оленинъ озадаченъ, но не обижается. Его лакей, Ванюша,—тотъ обиженъ и возмущенъ и находитъ, что это люди—«не русскіе какіе-то». И въ самомъ дѣлѣ: не знаютъ, что такое *баринъ*, шапку не ломаютъ, не говорятъ «ваше сіятельство». Не только не оробѣли, не засуетились, въ ручку не поцѣловали,—а прямо-таки ругательски ругаются и гонять вонъ.

Непосредственно передъ этимъ «объясненіемъ» съ воинственной бабой, Оленинъ, входя въ домъ, мелькомъ увидѣлъ ея дочь, Марьянку. Высокая и стройная фигура молодой казачки невольно привлекла его вниманіе. «Съ быстрымъ и жаднымъ любопытствомъ молодости онъ невольно замѣтилъ сильныя и дѣвственныя формы, обозначавшіяся подъ тонкою ситцевою рубахой, и прекрасныя черныя глаза, съ дѣтскимъ ужасомъ и дикимъ любопытствомъ устремленные на него...» Послѣ отповѣди старухи, когда онъ выходилъ изъ дому, «Марьяна, какъ была въ одной розовой рубахѣ, но уже до самыхъ глазъ повязанная бѣлымъ платкомъ, неожиданно шмыгнула мимо него изъ сѣней. Быстро постукивая по сходцамъ босыми ногами, она сбѣжала съ крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смѣющимися глазами на молодого чело-вѣка и скрылась за угломъ хаты...»

Таковы были первыя впечатлѣнія Оленина въ станицѣ: строптивая, ругающаяся баба, столь непохожая на крѣпостныхъ бабъ, и эта молодая дикарка, промелькнувшая какъ видѣніе. И, конечно, Оленинъ сразу почувствовалъ, что онъ въ самомъ дѣлѣ перенесся куда-то за тридевять земель отъ «цивилизаціи», «свѣта» и крѣпостного права и попалъ въ своеобразную и неподатливую среду, живущую самобытной жизнью, — среду людей, которые имѣютъ то, чего вообще такъ мало въ Россіи,— свою *гордость* и свой особый, нешаблонный складъ духа, представляющійся загадочнымъ и по своему значительнымъ. Это чувствуется въ самомъ способѣ изображенія, прежде всего—въ той по истинѣ гомеровской пластичности, полной выразительности и движенія, съ которою описано первое появленіе Марьянки. Ниже увидимъ, что такъ именно рисуются она и ея суженый, Лукашка, и въ дальнѣйшемъ теченіи разсказа, это фигуры «скульптурныя»,—и мы, если можно такъ выразиться, не читаемъ

о нихъ, а созерцаемъ ихъ и, любуясь ими, какъ изваяніями, догадываемся объ особенностяхъ скрытаго въ этихъ «мраморахъ» духа.

Но о нихъ рѣчь вперед; на очереди у насъ другая фигура, во многихъ отношеніяхъ представляющая еще болѣе болѣе интересъ. На другой-же день, послѣ водворенія своего въ домъ хорунжаго, Оленинъ знакомится съ дядей *Ерошкой*, который съ первыхъ-же словъ долженъ былъ произвести на молодого офицера сильное и своеобразное впечатлѣніе.—«*Кошкильды!*» сказалъ старый казакъ, входя въ комнату.—«*Кошкильды!*» отвѣтилъ Оленинъ и подаль ему руку.—«*Дуракъ!*» отвѣчаетъ ему Ерошка: «порядковъ не знаешь: коли тебѣ *кошкильды* говорятъ, ты скажи: *алли рази бо сунъ*, спаси Богъ. Я тебя всему научу, продолжалъ старикъ.—Такъ-то былъ у насъ Илья Мосейчъ, *вашъ, русскій*, такъ мы съ нимъ кунаки были! Молодецъ былъ, пьяница, воръ, охотникъ... Я его всему научилъ...»

Своеобразная фигура стараго дяди Ерошки (оригиналомъ для которой послужилъ Толстому казакъ Епишка, пріятель и чичероне Льва II. на Кавказѣ) ярко обрисована въ главѣ XI-ой, въ разговорѣ съ нимъ Оленина, завязавшемся послѣ только-что приведеннаго вступительнаго привѣтствія. Все, что узнаетъ Оленинъ отъ Ерошки, и то, что открывается ему въ самомъ старикѣ, должно было казаться молодому офицеру страннымъ, необычнымъ, превосходящимъ все его ожиданія. Онъ узнаетъ, что попалъ въ среду замкнутую, старовѣрческую, съ презрѣніемъ и недоброжелательствомъ относящуюся къ пришлымъ людямъ, къ *мирскимъ, русскимъ* къ солдатамъ и офицерамъ въ особенности. Ему становятся понятными мотивы, побудившіе старую Улиту гнать его вонъ, и даже отдѣльныя выраженія расходившейся бабы, въ родѣ: «не нужно мнѣ твоихъ денегъ поганыхъ... табачищемъ домъ загадить» и пр. Но съ тѣмъ вмѣстѣ онъ узнаетъ, что эти замкнутые въ своемъ быту люди далеко не представляютъ собою типичныхъ фанатиковъ-сектантовъ, и что въ ихъ средѣ возможно возникновеніе болѣе широкихъ взглядовъ на вещи. Живымъ доказательствомъ этому является самъ дядя Ерошка. Бывалый, умудренный опытомъ старикъ обнаруживаетъ все признаки природнаго ума и способности къ сужденіямъ здравымъ, человѣчнымъ, независимымъ. Онъ говоритъ Оленину: «нашъ народъ анафемскій, глупый народъ,—они васъ не за людей считаютъ. Ты для нихъ хуже татарина. Мирскіе, молъ, русскіе. А помоему хоть ты и солдатъ, а все чело-вѣкъ, тоже душу въ себѣ имѣешь...» Своеобразна и въ высокой степени любопытна философія и этика этого чело-вѣка, добытая собственнымъ его некультурнымъ умомъ, безъ помощи какихъ-бы то ни было книгъ и вліяній со стороны. Когда въ отвѣтъ на его предложеніе «достать» Оленину «красавицу», послѣдній замѣчаетъ, что это «грѣхъ»,—старикъ говоритъ: «Грѣхъ? Гдѣ грѣхъ? На хорошую дѣвку глядѣть

грѣхъ? Погулять съ ней грѣхъ? Али любить ее грѣхъ? Это у васъ такъ?.. Нѣтъ, отецъ мой, это не грѣхъ, а спасеніе! Богъ тебя сдѣлалъ, Богъ и дѣвку сдѣлалъ. Все онъ, батюшка, сдѣлалъ. Такъ на хорошую дѣвку смотрѣть не грѣхъ. На то она и сдѣлана, чтобы ее любить, да на нее радоваться. Такъ-то я сужу, добрый человѣкъ!» (Глава XII-я).

Чѣмъ дальше, тѣмъ яснѣе открывается Оленину оригинальный внутренний міръ этого человѣка, не чуждый самоуглубленія и въ некоторыхъ высшаго порядка мыслей и чувствъ. Такъ, когда Лукашка, убивъ чеченца, гуляетъ и поетъ, старикъ замѣчаетъ: «Это, знаешь, кто поетъ? Это Лукашка-джигитъ. Онъ чеченца убилъ; то-то и радуется. И чему радуется?.. Дуракъ, дуракъ!..—А ты убивалъ людей?»—спросилъ Оленинъ. Старикъ вдругъ поднялся на оба локтя и близко придвинулъ свое лицо къ лицу Оленина.—Чортъ!—закричалъ онъ на него:—что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, охъ, мудрено!—Что за люди, что за жизнь!—подумалъ Оленинъ» (гл. XIV-я). А вотъ и религіозная философія этого человѣка, родившагося и выросшаго въ старообрядческой средѣ: «...Я бывало со всѣми кунакъ,—разсказываетъ онъ Оленину,—татаринъ—татаринъ, армянинъ—армянинъ, солдатъ—солдатъ, офицеръ—офицеръ, мнѣ все равно, только-бы пьяница былъ. Ты, говоритъ, очиститься долженъ отъ міра сообщенія: съ солдатомъ не пей, съ татаринкомъ не ѣшь...—Кто это говоритъ?»—спросилъ Оленинъ.—А уставщики наши... А мулду и кадія татарскаго послушай. Онъ говоритъ: вы невѣрные гауры, зачѣмъ свинью ѣдите? Значитъ, всякій свой законъ держитъ. А помоему все одно. Все Богъ сдѣлалъ на радость человѣку. Ни въ чемъ грѣха нѣтъ. Хоть съ звѣря примѣръ бери. Онъ и въ татарскомъ камышѣ, и въ нашемъ живетъ. Куда придетъ, тамъ и домъ. Что Богъ далъ, то и лопаешь. А намъ говорятъ, что за это будемъ сковороды лязать. Я такъ думаю, что все одна фальшь...—Что фальшь?»—спросилъ Оленинъ.—Да что уставщики говорятъ. У насъ, отецъ мой, былъ старшина—кунакъ мнѣ былъ... Такъ онъ говорилъ, что это все уставщики изъ своей головы выдумываютъ. Сдохнешь, говоритъ, трава вырастетъ на могилкѣ—вотъ и все...» (гл. XIV-я). Любопытны также нелишенные поэтичности рассказы старика о его охотничьихъ впечатлѣніяхъ, о тѣхъ чувствахъ и мысляхъ, которые бывало возникали въ немъ, когда онъ «караулил» ночью, подстерегая звѣря. Подстерегъ онъ, напр., стадо дикихъ свиней и только-что хотѣлъ «стрѣлить», какъ свинья вдругъ фыркнетъ на своихъ поросятъ: «бѣда, мошь, дѣтки, человѣкъ сидитъ»,—и, къ великому огорченію охотника, «затрещали всѣ прочь по камышамъ». Это даетъ поводъ къ слѣдующему разсужденію: «Ты думалъ, онъ дуракъ, звѣрь-то? Нѣтъ, онъ умнѣй человѣка, даромъ-что свинья называется. Онъ все знаетъ. Хоть то въ примѣръ возьми: человѣкъ по слѣду пройдетъ, не замѣтитъ, а свинья, какъ наткнется на твой слѣдъ, такъ сейчасъ от-

дустъ и прочь; значитъ, умъ въ ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышитъ. Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по дѣсу живая гулять хочетъ. У тебя такой законъ, а у нея такой законъ. Она—свинья, а все она не хуже тебя,—такая-же тварь Божья. Эхъ-ма! Глушь человѣкъ, глушь, глушь человѣкъ!»—повторилъ нѣсколько разъ старикъ и, опустивъ голову, задумался». Въ несомнѣнной связи съ этими воззрѣніями, посвоему широкими и свободными, развилось въ душевномъ обиходѣ этого человѣка, всю жизнь проведеннаго среди грубыхъ и кровавыхъ впечатлѣній, рѣдкое по своей утонченности *чувство жалости, состраданія*. «А то разъ,—повѣствуетъ онъ,—сидѣлъ на водѣ, смотрю, зыбка сверху плыветъ. Вовсе цѣлая, только край отломанъ. То-то мысли пришли! Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты въ аулъ пришли, чеченокъ побрали, ребеночка убилъ какой чортъ: взялъ за ножки, да объ уголъ. Развѣ не дѣлаютъ такъ-то? Эхъ, души нѣтъ въ людяхъ!.. И тамъ мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросилъ и бабу угнали, домъ сожгли, а джигитъ взялъ ружье, на нашу сторону пошелъ грабить...» И, подъ влияніемъ этихъ мыслей и воспоминаній, глубоко задумался старикъ. Задумался и Оленинъ и, «спустившись съ крыльца, заложивъ руки за спину, сталъ молча ходить по двору. А старикъ, очнувшись, поднялъ голову и началъ пристально всматриваться въ ночныхъ бабочекъ, которыя вились надъ колыхавшимся огнемъ свѣчи и попадали въ него.—Дура, дура!—говорилъ онъ.—Куда летитъ?.. Сгоритъ, дурочка! Вотъ сюда лети, мѣста много,—приговаривалъ онъ нѣжнымъ голосомъ, стараясь своими толстыми пальцами поймать ея крылышки и вышутить.—Сама себя губишь, а я тебя жалѣю» (гл. XV-я).

Эти цитаты говорятъ сами за себя и длинныхъ комментариевъ не требуютъ. Имъ нужно только подвести итогъ. Что такое дядя Ерощка, какъ художественный образъ, съ точки зрѣнія субъективнаго творчества Толстого? Что такое художественный образъ дяди Ерощки самъ по себѣ, какъ созданіе творчества объективнаго,—каковъ интересъ, представляемый имъ для насъ?

Прежде всего это—одна изъ великолѣпнѣйшихъ фигуръ, созданныхъ Толстымъ, одно изъ блистательныхъ его открытій—въ сферѣ тѣхъ психологическихъ и бытовыхъ явленій, которые для него были чуждыми, посторонними, къ изученію и воспроизведенію которыхъ онъ обращался, влекомый живымъ стремленіемъ выйти изъ тѣсныхъ границъ субъективной сферы.

Оленинъ встрѣтилъ въ дядѣ Ерощкѣ, Толстой открылъ въ немъ цѣлую залежь душевныхъ формацій, къ общенію съ которыми первый стремился, какъ человѣкъ извѣстнаго круга, а второй—и какъ художникъ.

Оленинъ-Толстой бѣжалъ отъ «цивилизаци», отъ великосвѣтской, сто-

личной жизни: ему нужна была дикая природа и человек, живущий в постоянном и живом общении с нею. В этом отношении дядя Ерощка, тотот, по выражению хорунжаго, *Нимродъ египетскій, ловець предъ господиномъ*, удовлетворялъ Оленина-Толстого въ большей мѣрѣ, чѣмъ другіе представители станичной жизни. Хорунжій, начетчикъ, претендующій на образованность, скопидомъ и хозяинъ, Лукашка-джигитъ, натура непосредственная, типичный представитель казачкихъ нравовъ и станичнаго быта, Назарка и всѣ прочіе—все это люди, выросшие и сложившіеся среди данныхъ формъ быта и традицій и столь-же крѣпко сидящие въ ихъ тискахъ, какъ представитель великосвѣтскаго круга сидитъ въ своихъ культурныхъ тискахъ. Традиціонные взгляды на вещи, исторически-сложившіяся формы отношеній сковываютъ ихъ внутренній міръ и подавляютъ свободное развитіе чувства и мысли не меньше, если не больше, чѣмъ въ любомъ цивилизованномъ обществѣ. Здѣсь свои «язбитыя дорожки», которыхъ такъ не любитъ Оленинъ, здѣсь свой «хомутъ», который такъ противенъ ему. Здѣсь, какъ и вездѣ, бытовая, сословная, профессиональная формація личности подавляетъ и ограничиваетъ ея общечеловѣческое и индивидуальное развитіе. Но дядя Ерощка является блестящимъ исключеніемъ. Онъ, въ извѣстномъ смыслѣ, такой-же отщепенецъ отъ своего общества, какъ Оленинъ—отъ своего. Онъ выше своей среды и умомъ, и чувствомъ,—какъ и Оленинъ въ тѣхъ-же отношеніяхъ выше своей. И потому они оба одиноки, оба не поняты. Рѣчи Ерощки на тему о томъ, что всѣ люди равны, и звѣрь не хуже человека,—остаются его личными свободными мнѣніями, которыхъ не поймутъ и не раздѣляютъ ни Лукашка, ни хорунжій, ни Назарка. Онъ между ними—человекъ особенный, какъ Оленинъ—между своими. Эта аналогія и сближаетъ ихъ, и между ними устанавливается родъ душевнаго тяготѣнія другъ къ другу, которое еще усугубляется въ силу того, что указанная аналогія сопряжена съ яркимъ и притягательно-дѣйствующимъ психическимъ контрастомъ: Оленинъ—человекъ неустановившійся, ищущій и мятущийся, дядя Ерощка—человекъ сложившійся, спокойный, внутренне-уравновѣшенный,—Оленинъ, при всѣхъ своихъ протестахъ и смѣлыхъ стремленіяхъ,—личность внутренне-связанная «неотразимостью» правды надъ нею той среды, отъ которой онъ тщетно хочетъ уйти, и сложной, запутанной дѣятельностью его духа, дядя Ерощка—человекъ *внутренне-свободный*, непосредственный, самобытный философъ, рѣшившій для себя всѣ вопросы, какіе только возникали въ его умѣ, и нашедшій въ этихъ рѣшеніяхъ успокоеніе и миръ душевный; Оленинъ, уѣхавъ за тысячи верстъ отъ «свѣта», не можетъ избавиться отъ пути его, Ерощка, оставаясь въ своей средѣ, сумѣлъ освободиться отъ ея оковъ; Оленинъ въ самыхъ своихъ отрицаніяхъ остается аристократомъ и думаетъ и чувствуетъ по-великосвѣтски—не со стороны содержанія мыслей и чувствъ,

а что иногда важнѣе—со стороны ихъ психологической, сословной формы, между тѣмъ, какъ дядя Ерощка чувствуетъ и думаетъ по своему: у него не только свое *содержаніе* мыслей и чувствъ, но своя особая психологическая ихъ форма, въ которой доведены до минимума черты сословно-бытовыя и остались только національно-этнографическія, правда, очень ярко выраженные.

Эти указанія на черты сходства и контраста между душевнымъ укладомъ стараго казака и натурою Оленина-Толстого, даютъ намъ въ руки ту ариаднину нить, которая приводитъ насъ къ открытію *субъективной* стороны въ созданіи образа дяди Ерощки. Напомню, во избѣжаніе недоразумѣній, что субъективизмомъ въ творчествѣ я называю не приписываніе выводимому лицу собственныхъ мнѣній и взглядовъ автора, а *внесение въ образъ результатовъ своего внутреннею опыта или-же какой-нибудь основной черты своей собственной натуры*.

Въ натурѣ Толстого и въ многолѣтней исторіи его внутренняго опыта весьма видное, можно сказать, первенствующее положеніе занимаетъ слѣдующій душевный процессъ: въ своихъ постоянныхъ исканіяхъ высшей нравственной правды Толстой всегда руководился не то сознаніемъ, не то предчувствіемъ, что эта искомая правда погребена гдѣ-то глубоко въ вѣдрахъ его собственнаго духа, засыпанная и придавленная наносными пластами другихъ психическихъ наслоеній, отложенныхъ «цивилизацией» вообще и культурою высшаго, аристократическаго класса въ частности. Чтобы увидѣть свѣтъ истины, нужно только пробиться сквозь эту толщу, нужно приподнять и сдвинуть эти наслоенія. слѣдующее простое соображеніе является на помощь этому трудному предпріятію: въ мужикѣ, который такъ мало причастенъ «цивилизаци», въ душѣ котораго такъ незначительны ея наслоенія, всечеловѣческая правда должна лежать не такъ глубоко, а гораздо ближе къ поверхности, и мужику, ищущему этой правды, стоитъ только немножко порасчистить верхній слой, чтобы найти ее или по крайней мѣрѣ близко къ ней подойти. Оттуда обращеніе къ народу съ цѣлью подслушать это прозябаніе высшей правды сквозь исторически-отложившіяся, вѣковые, но аргіогі предполагаемые слабыми, непрочными наносы культуры и быта. Пожалуй, удастся даже подмѣтнуть кое-гдѣ, какъ этотъ свѣтъ пробивается самъ собою, независимо отъ сознательныхъ усилій человека. Поскольку Толстой подходилъ къ народу *съ этой стороны*, руководимый этой точкой зрѣнія, постольку онъ шелъ путемъ субъективнаго творчества. Субъективность была въ самомъ замыслѣ. Въ процессъ-же творчества она частью ограничивалась, частью совсѣмъ устранялась объективными наблюденіями и вновь появлялась тамъ, гдѣ дѣйствительность въ самомъ дѣлѣ оправдывала въ извѣстной мѣрѣ надежды Толстого и давала ему въ руки хотя-бы *намени*, которые какъ-бы уполномочивали его вопло-

щать въ *народных* образахъ столь знакомый ему, *по собственному внутреннему опыту*, процессъ исканія высшей правды внутри себя,—добыванія истины собственнымъ умомъ, освобожденія духа отъ ограничивающихъ и искажающихъ его воздѣйствій культуры.

Чтобы *этимъ* путемъ, при дѣятельномъ участіи указаннаго *субъективного* момента, создать изъ *объективныхъ* наблюденій надъ народной жизнью превосходный образъ *дяди Ерешки* и, какъ увидимъ въ слѣдующей главѣ, грандіозную фигуру *Платона Каратаева*, нужно было обладать гениальной художественной интуиціей Толстого, тою, ему одному свойственною, силою художественнаго зрѣнія, которая позволяетъ ему созерцать объективный міръ въ его настоящемъ свѣтѣ—несмотря на то, что между *этимъ* міромъ и его взоромъ находится среда, казалось-бы, долженствовавшая неминуемо заслонить этотъ міръ или, по крайней мѣрѣ, преломить идущіе отъ него лучи, собственная душа Толстого, столь сложная, столь богатая содержаниемъ, вѣчно движущаяся и волнующаяся и потому именно *непрозрачная*.

Не будь у Толстого этого дара гениальной прозорливости, вмѣсто типичной, истинно-народной фигуры дяди Ерешки вышла-бы фигура искусственная, псевдо-народная,—это была-бы часть того-же Оленева, переодѣтаго въ народный костюмъ. И какъ-бы хорошо ни были нарисованы такой образъ съ внѣшней стороны, какъ-бы искусно ни были поддѣланы манеры, языкъ и т. д.,—образъ все-таки вышелъ-бы фальшивымъ и, разумѣется, не представлялъ-бы для насъ того живого интереса, какой присущъ великолѣпной фигурѣ дяди Ерешки. Говоря такъ, я съ тѣмъ вмѣстѣ даю отвѣтъ на второй, поставленный мною вопросъ: какое значеніе имѣетъ для насъ этотъ образъ, какъ созданіе творчества объективного?

Дядя Ерешка—народный великорусскій типъ, обобщающій въ некоторыя очень любопытныя стороны народнаго духа. Это обобщеніе говоритъ намъ, что не мы одни, люди, причастные европейской цивилизаціи, наукѣ, искусству, литературѣ,—всему, что облагораживаетъ человѣка и дѣлаетъ его гуманнымъ,—способны шевелить мозгами, критически относиться къ вѣкамъ установившимся и господствующимъ въ окружающей средѣ нравственнымъ и инымъ понятіямъ, читать высшія чувства, напримѣръ жалости, состраданія. Критическая мысль и глубина и чуткость душевной организаціи, для которыхъ общечеловѣческое просвѣщеніе является могущественнымъ и незамѣнимымъ орудіемъ и прочной основой, не составляютъ однако монополию и привилегію образованныхъ классовъ. Дядя Ерешка цѣлой головой выше интеллигентной толпы и, какъ личность, гораздо интереснѣе и богаче содержаниемъ тѣхъ адептовъ цивилизаціи, у которыхъ образованіе, нерѣдко обширное и разностороннее, отлично уживается съ вялостью

мысли и деревянностью чувства. Въ народѣ, невзирая на всѣ неблагоприятныя условія, сохраняется природная энергія мысли и свѣжесть чувства, которыя какъ-бы ждутъ-не-дождутся живительныхъ лучей просвѣщенія—чтобы расцвѣсть и дать сочный плодъ. Горе тому народу, въ которомъ почему-бы то ни было изсякнетъ природный родникъ мысли и чувства,—тогда никакое просвѣщеніе ужъ не поможетъ ему! Этотъ родникъ засаривается и грозитъ изсякнуть тамъ, гдѣ общее душевное самочувствіе людей ненормально, нездорово, гдѣ человѣкъ теряетъ сознаніе своего человѣческаго достоинства, гдѣ его духъ угнетенъ такими разлагающими душевными процессами, какъ напр. страхъ, чувство безпомощности, сознаніе своего безсилія, своего ничтожества. Не такова среда изображенная Толстымъ въ «Казакахъ»: это общество людей смѣлыхъ, сильныхъ духомъ, съ ярко-выраженнымъ чувствомъ человѣческаго достоинства, съ здоровымъ общимъ душевнымъ самочувствіемъ,—а потому, какъ-бы ни была проста и некультурна ихъ жизнь, какъ-бы ни были грубы ихъ нравы, родникъ живой мысли и человѣчныхъ чувствъ у нихъ не засоренъ и не изсякнетъ. Въ образѣ дяди Ерешки мы видимъ его олицетвореніе.

Дядя Ерешка—типъ народный, но не мужицкій, не крестьянскій. Это не человѣкъ сохи и страды, это—вольный казакъ, охотникъ, бобыль. Даже отъ своихъ одностаничниковъ онъ отличается въ этомъ отношеніи: тѣ все-таки земледѣльцы и хозяева. У дяди Ерешки хозяйства нѣтъ; онъ промышляетъ охотой и подачками добрыхъ людей, онъ—почти пролетарій, но только совсѣмъ особаго сорта,—такой, котораго душа не угнетена страхомъ нищеты и чувствомъ безпомощности; въ немъ нѣтъ и тѣни той душевной растерянности, которая образуетъ характерную черту сельскаго или городского пролетарія. Человѣкъ бѣдный, но все-таки обеспеченный и независимый, дядя Ерешка въ одно и то-же время свободенъ и отъ гнета нищеты, и отъ того, что Г. П. Успенскій назвалъ «властью земли»: въ самомъ дѣлѣ, характерный душевный складъ русскаго мужика, обусловленный «властью земли», у дяди Ерешки не виденъ. Если ко всему этому прибавимъ еще принадлежность къ той части народа, которая крѣпостного права не знала, да къ тому-же проникнута духомъ старообрядческой независимости, а также—жизнь на окраинѣ въ постоянномъ общеніи съ разными иноплеменниками,—то мы будемъ имѣть въ своемъ распоряженіи всю совокупность бытовыхъ условій, благоприятствующихъ образованію той разновидности народнаго духа, которая воплощена въ лицѣ стараго казака-охотника. Эти условія не составляютъ исключительной принадлежности казацкихъ станицъ на Кавказѣ и, съ разными варіаціями, повторяются и на другихъ окраинахъ. Дядю Ерешку мы, конечно, найдемъ—*mutatis mutandis*—и на сѣверѣ Россіи, и на востокѣ, въ Сибири. Передъ нами люди здоровые и сильные духомъ, здоровые и

сильные какъ раса, сохранившіе чувство человѣческаго достоинства и—въ силу всѣхъ этихъ свойствъ, вмѣстѣ взятыхъ,—способные къ своеобразному развитію, умственному и нравственному. И непременно среди нихъ окажется хоть одинъ независимый философъ, который, подобно дядѣ Ерошкѣ, сумѣетъ страхнуть съ себя вѣковыя понятія и традиціонныя взгляды на Божій міръ, на жизнь, на людскія дѣла—и взглянетъ на все это съ такой свободной и возвышенной точки зрѣнія, какъ дай Богъ иному заправскому мыслителю. Навѣрно въ какомъ-нибудь Тарбагатаѣ, кромѣ зажиточности, крѣпкихъ изъбъ и тучнаго скота, есть еще и свой дядя Ерошка, который говоритъ: «гдѣ грѣхъ? въ чемъ грѣхъ? любить грѣхъ?» и проповѣдуетъ, что татаринъ-ли, русскій-ли—все едино, всѣ въ себѣ душу имѣютъ и что всѣхъ нужно жалѣть, неисключая и звѣрей. За освобожденіемъ духа человѣческаго въ его дѣломъ ото всего, что угнетаетъ и искажаетъ его, идетъ послѣдовательно освобожденіе въ немъ самомъ его лучшихъ и высшихъ сторонъ, человѣчной мысли и человѣчныхъ чувствъ, отъ подавляющихъ ихъ низшихъ и эгоистическихъ влеченій. Энергія и независимость мысли и гуманность чувства—это положительная душевная сила, и она можетъ проявиться только тамъ, гдѣ вообще развитіе духа человѣческаго идетъ въ направленіи силы, а не безсилія, гдѣ—помимо мысли и чувства—вырабатываются характеры, хотя-бы и грубые, но въ которыхъ нѣтъ и тѣни дряблости, гдѣ слагаются нравы, хотя-бы и жестокіе, но не приниженные. Пусть дядя Ерошка въ своемъ родѣ отщепенецъ и, по своему душевному складу, личность оригинальная, а не вѣрный представитель своей среды, но онъ психологически возможенъ и даже необходимъ въ этой средѣ,—ибо это среда не дряблая, не оскудѣлая духомъ, и въ ней есть такіе молодцы, какъ Лукашка-джигитъ, и такія сильныя и гордыя женскія натуры, какъ Маріанка.

Эти два образа представляютъ собою художественное выраженіе тѣхъ наблюденій надъ бытомъ и нравами казаковъ, которыя кратко и не въ художественной формѣ резюмированы въ главѣ IV-ой. Тамъ между прочимъ читаемъ: «Живя между чеченцами, казаки перероднились съ ними и усвоили себѣ обычаи, образъ жизни и нравы горцевъ; но удержали и тамъ, во всей прежней чистотѣ, русскій языкъ и старую вѣру... Еще до сихъ поръ казакскіе роды считаются родствомъ съ чеченскими, и любовь къ свободѣ, праздности, грабежу и войнѣ составляетъ главныя черты ихъ характера.. Казакъ, по влеченію, менѣе ненавидитъ джигита-горца, который убилъ его брата, чѣмъ солдата, который стоитъ у него, чтобы защищать его станицу, но который закурилъ табакомъ его хату. Онъ уважаетъ врага-горца, но презираетъ чужого для него и угнетателя солдата. Собственно русскій мужикъ для казака есть какое-то чуждое, дикое и презрѣнное существо, котораго обрашкѣ онъ видалъ въ заходящихъ торгашахъ и переселенцахъ малороссіянахъ, которыхъ казаки

презрительно называютъ шаловалами. Щегольство въ одеждѣ состоитъ въ подражаніи черкесу... Молодецъ казакъ щеголяетъ званіемъ татарскаго языка и, разгулявшись, даже съ своимъ братомъ говоритъ по-татарски. Несмотря на то, этотъ христіанскій народецъ, закинутый въ уголокъ земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считаетъ себя на высокой степени развитія и признаетъ человѣкомъ только одного казака, на все-же остальное смотритъ съ презрѣніемъ». Вотъ эти-то наблюденія и повторены въ художественной формѣ—въ образѣ Лукашки, который поэтому и долженъ быть признанъ созданіемъ чисто объективнаго творчества. Этотъ образъ, по способу исполненія, отличается такою-же пластичностью и скульптурностью, какъ и фигура Маріанки. «Лукашка—читаемъ въ гл. VI-ой—былъ высокій, красивый малый, лѣтъ двадцати... Лицо и все сложеніе его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу... По широкому выраженію его лица и спокойной увѣренности позы, видно было, что онъ уже успѣлъ принять свойственную казакамъ воинственную и нѣсколько гордую осанку, что онъ казакъ и знаетъ себѣ дѣлу не ниже настоящей.—Порознь черты лица его были не хороши, но, взглянувъ сразу на его статное сложеніе, чернобровое, умное лицо, всякій невольно сказалъ-бы: «молодецъ малый!» Во всѣхъ сценахъ, гдѣ онъ появляется, онъ представленъ такъ, что мы въ одно и то же время и *любимся* его молодецкой и типично-казакской фигурой, и ясно видимъ его несложный, но по своему значительный внутренній міръ. Этотъ эффектъ достигается строгимъ выборомъ и экономіей художественныхъ приемовъ: Лукашка появляется только тогда, когда это необходимо, говоритъ только то, что въ самомъ дѣлѣ нужно сказать, и самъ авторъ, занятый преимущественно Оленинымъ, говоритъ намъ очень мало о молодомъ казакѣ; онъ вообще мало о немъ заботится и предоставляетъ ему самому показать себя въ настоящемъ свѣтѣ. И Лукашка себя въ самомъ дѣлѣ показываетъ: въ выслѣживаніи абрековъ, дома—въ станицѣ, когда онъ кутитъ, балагуритъ съ дѣвками, на свиданіи съ Маріанкой, въ разговорахъ съ Оленинымъ—вездѣ онъ все тотъ-же молодецъ-джигитъ, натура непосредственная, типичный казакъ. Повидимому, онъ очень любитъ Маріанку, но эта любовь не играетъ большой роли въ его душевномъ обиходѣ и совершенно лишена всякой романтической окраски. Онъ любитъ сдержанно и сурово. Такъ-же точно сурова и сдержана любовь Маріанки къ нему. Въ своихъ отношеніяхъ другъ къ другу оба они обнаруживаютъ незаурядный *закалъ* душевный. Они ревнуютъ другъ друга, но это ревность самолюбивая, гордая и угрюмая, — у него она обходится безъ той массы мелкихъ мужскихъ чувствъ, съ которыми она неразлучна у многихъ,—у нея—безъ той слезливой и злой нервности, какая такъ характерна для большинства женщинъ.

Въ основѣ превосходнаго образа Марьянки были положены тѣ наблюденія надъ гребенскими женщинами, которыя кратко намѣчены въ гл. IV-ой. «Казакъ (читаемъ тамъ), который при постороннихъ считаетъ неприличнымъ ласково или праздно говорить съ своей бабой, невольно чувствуетъ ея превосходство, оставаясь съ ней съ глазу на глазъ. Весь домъ, все имущество, все хозяйство приобретено ею и держится только ея трудами и заботами... Постоянный мужской, тяжелый трудъ и заботы, переданныя ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характеръ гребенской женщинѣ и поразительно развили въ ней физическую силу, здравый смыслъ, рѣшительность и стойкость характера. Женщины большею частью и сильнѣе, и умнѣе, и развитѣе, и красивѣе казаковъ. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединеніемъ самаго чистаго типа черкесскаго лица съ широкимъ и могучимъ сложеніемъ сѣверной женщины».

Эти наблюденія повторены въ художественномъ образѣ Марьянки, написанномъ совершенно такъ, какъ написанъ Лукашка, — съ тою-же экономіей художественныхъ приемовъ и тою-же авторскою сдержанностью.

Прослѣдите всѣ важнѣйшія сцены, гдѣ она является, — и вы увидите и поймете ее какъ разъ такъ, какъ вы видите и понимаете Лукашку. Вы любуетесь ея величавой, породистой красотой, какъ любуетесь молоденцкою фигурой ея возлюбленнаго. Вы чувствуете, что подъ этой внѣшностью скрывается душевный *закалъ*, пожалуй, посильнѣе того, который вы видѣли въ молодомъ казакѣ. Векорѣ вамъ становится ясно, что, при всей своей непосредственности, Марьяна — натура посвоему глубокая, сильная, безусловно-цѣломудренная. И въ галлерѣ женскихъ типовъ Толстого вы отведете ей одно изъ первыхъ мѣстъ — не только по мастерству исполненія, какъ художественному образу, но и по существу, какъ женскому характеру, какъ личности.

Созерцая эти типичныя фигуры и черезъ нихъ ту среду, лучшія и характерныя стороны которой онѣ воспроизводятъ, вы невольно скажете себѣ: да, это крѣпкая, славная раса, это — народъ, здоровый тѣломъ и духомъ, — и онъ не вырождается, не пропадетъ. Пусть эти люди невѣжественны и не приобщены къ высшей цивилизации, пусть мысль ихъ дремлетъ, и высшимъ гуманнымъ чувствамъ нѣтъ у нихъ развитія, если не считать отдѣльных и, конечно, рѣдкихъ явленій въ родѣ дяди Ерошки, — пусть это такъ, но у нихъ есть то, безъ чего сама цивилизация не имѣетъ ни цѣны, ни смысла, а мысль и гуманность невозможна: у нихъ есть *своя гордость и сознание своего человеческого достоинства*.

Смѣлая, глубокая мысль и широкое гуманное чувство всегда и вездѣ — удѣлъ избранныхъ. Сознаніе своего человеческого достоинства должно быть принадлежностью всѣхъ и каждаго. Народъ, у котораго оно есть.

не вырождается, не захирѣетъ, — все прочее, чего недостаетъ ему, — въ свое время приложится.

Народные типы въ «Казакахъ» не принадлежатъ къ числу очень широкихъ художественныхъ обобщеній: это типы мѣстные, этнографическіе. Въ этомъ отношеніи ихъ нужно поставить на одну доску съ типами великорусскихъ крестьянъ у Тургенева (въ «Запискахъ охотника»), у Писемскаго, у Глѣба Успенскаго: все это художественные образы, имѣющіе цѣнность почти ученаго этнографическаго и бытового изслѣдованія. Но Толстой, въ своихъ стремленіяхъ проникнуть въ самую глубь народнаго духа, пошелъ дальше и — создалъ гениальный образъ мужичка и солдатака *Платона Каратаева*, воплотивъ въ немъ уже не мѣстно-этнографическія, а *общенародныя, великорусскія національныя* черты, — въ общемъ или, лучше, въ своей сущности, тѣ самыя, которыя въ иномъ обличьѣ воспроизведены имъ въ исторической фигурѣ *Кутузова*.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Типы національныя.

Въ ряду типовъ, созданныхъ Толстымъ, Платону Каратаеву и Кутузову принадлежитъ совсѣмъ особое мѣсто. Можно сказать даже, что вообще въ русской художественной литературѣ это образы исключительныя, единственныя въ своемъ родѣ. Не только по необычному мастерству исполненія, но, что гораздо важнѣе, по оригинальности замысла и своеобразной значительности воплощенной въ нихъ идеи, эти двѣ фигуры рѣзко выдѣляются изъ массы образовъ, ихъ окружающихъ, и, не взирая на то, что въ самой *фабулѣ* эпопеи ихъ роль не велика, выступаютъ въ сознаніи читателя на первый планъ. Безъ Каратаева и Кутузова великая эпопея «Войны и Мира» не была бы тѣмъ, чѣмъ она по праву является, — великимъ законченнымъ національнымъ памятникомъ, — она-бы не была нашей Илладой и Одиссеей.

Предстоящая намъ задача сводится къ тому, чтобы рассмотреть эти два образа со стороны вложеннаго въ нихъ психологическаго содержанія и раскрыть ту идею, представленіемъ которой служить это содержаніе.

Начнемъ съ Каратаева.

Перечитаемъ тѣ мѣста, гдѣ онъ выведенъ (томъ IV, часть I, главы XII и XIII; ч. II, гл. XI; ч. III, гл. XIII и XIV), и постараемся отдать себѣ отчетъ въ нашихъ впечатлѣніяхъ.

Изъ ряда этихъ впечатлѣній совершенно отчетливо выдѣляется то, что принято называть «эстетической эмоціей»: мы ясно ощущаемъ своеобразное возбужденіе мысли и чувства, вызванное самимъ художественнымъ образомъ, какъ онъ есть, независимо отъ сюжета, отъ исторіи и судьбы выведеннаго лица. Каратаевъ дѣйствуетъ на насъ такъ «эмоционально» потому только, что онъ — Каратаевъ, а не оттого, что онъ въ

плѣну, страдаетъ, что его убиваютъ. Въ ряду художественныхъ образовъ есть не мало такихъ, при воспріятіи которыхъ не легко сразу раздѣлать эти два источника эмоціи. Каратаевъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, по отношенію къ которымъ, напротивъ, очень легко это сдѣлать. Читая напр. описаніе смерти Каратаева (томъ IV, часть III, гл. XIV), мы не испытываемъ большого чувства жалости: оно подавлено, какъ-бы нейтрализовано сильной эстетической эмоціей, производимой самой фигурой Каратаева.

Это эстетическое чувство незамѣтно подкралось къ намъ въ тотъ моментъ, когда мы читали въ главѣ XII-ой I-ой части IV-го тома сцену знакомства Пьера Безухова съ Каратаевымъ. Фигура маленькаго солдата, который пожалѣлъ и утѣшилъ Пьера, тронула насъ какимъ-то особеннымъ, необычнымъ образомъ. Сперва намъ почудилось, что это было то-же самое чувство, которое испыталъ Пьеръ: «такое выраженіе ласки и простоты было въ пѣвучемъ голосѣ человѣка, что Пьеръ хотѣлъ отвѣчать, но у него задрожала челюсть, и онъ почувствовалъ слезы». Но уже слѣдующая страница заставила насъ отвлечься отъ этой мысли, забыть эту трогательность состраданія и участія, проявленнаго Каратаевымъ, и сосредоточить вниманіе на другихъ чертахъ образа. Во-первыхъ, мы сейчасъ-же узнали, что Каратаевъ жалѣетъ Пьера такъ-же, какъ жалѣетъ онъ собаку: «Ишь шельма, пришла!—услыхалъ Пьеръ въ концѣ балагана тотъ-же ласковый голосъ...» — Во-вторыхъ, тутъ-же, на той-же и слѣдующихъ страницахъ, мы убѣдились въ томъ, что передъ нами натура совершенно непосредственная, въ которой доброта, состраданіе и т. д.—не добродѣтели, не сознательныя проявленія его души, а какъ-бы родъ врожденнаго психическаго темперамента,—черты, аналогичныя такимъ физиологическимъ признакамъ личности, какъ, напр., ростъ, цвѣтъ глазъ, тембръ голоса и т. д. Это—не заслуги, не преимущества, а *свойства*. Доброта Каратаева, если можно такъ выразиться, не въ «сердцѣ» его, а въ его пѣвучемъ голосѣ, «круглыхъ» и «спорныхъ» движеніяхъ, во всей повадкѣ его. Это открытіе устранило то трогательное чувство, которое минутой раньше мы испытали вмѣстѣ съ Пьеромъ, но ничуть не ослабило силы художественной иллюзіи, вызванной въ насъ фигурой Каратаева. Напротивъ, эта эмоція еще увеличивается, нашъ художественный интересъ къ образу еще возрастаетъ, когда ниже, въ главѣ XIII-ой, мы узнаемъ, что «привязанностей, дружбы, любви, какъ понималъ ихъ Пьеръ, Каратаевъ не имѣлъ никакихъ, но онъ любилъ и любовью жилъ, со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ человѣкомъ,—не съ извѣстнымъ какимъ-нибудь человѣкомъ, а съ тѣми людьми, которые были предъ его глазами». Это какъ-бы природная экспансивность и общительность человѣка, нетронутаго индивидуализмомъ и рефлексіей, человѣка, взятаго не какъ личность, характеризующаяся

своеобразнымъ содержаніемъ души, а только какъ «существо общественное». «Онъ любилъ (читаемъ мы тутъ-же) свою шавку, любилъ товарищей, французовъ, любилъ Пьера, который былъ его сосѣдомъ; но Пьеръ чувствовалъ, что Каратаевъ, несмотря на всю свою ласковую нѣжность къ нему (которою онъ невольно отдавалъ должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился-бы разлукой съ нимъ. И Пьеръ то же чувство начиналъ испытывать къ Каратаеву».

Каратаевъ инстинктивно отдаетъ дань *духовной жизни* Пьера, потому что у него самого духовной жизни нѣтъ въ смыслѣ положительнаго *содержанія* его «я» и вся она безъ остатка сливается у него съ *формой* личности.

Здѣсь лишними будутъ нѣсколько словъ—въ поясненіе этихъ понятій *психологической формы* и *психологическаго содержанія*.

Анализируя нашъ внутренній міръ, мы легко отмѣтимъ тѣ психическія явленія, которыя въ теченіи всей нашей жизни представляются, въ своихъ основныхъ чертахъ, стойкими, относительно неизмѣнными, между тѣмъ какъ другія постоянно измѣняются, чередуются, появляются, исчезаютъ. Первые могутъ быть названы *постоянной психической величиной*, а вторыя—*переменной*. Эти термины не должны быть понимаемы буквально, и нельзя признавать ихъ вполне точными, потому что, строго говоря, въ душѣ человѣческой нѣтъ ничего неизмѣннаго, въ ней все—въ вѣчномъ движеніи. Но извѣстныя психическія явленія измѣняются чрезвычайно медленно, по каплямъ, и эти измѣненія едва доступны сознанію самого субъекта или наблюденію извнѣ. Есть и такія измѣненія, которыя совсѣмъ не сознаются и не подлежатъ никакому наблюденію въ то время, когда они происходятъ, и только ученое изслѣдованіе результатовъ, ими произведенныхъ, удостовѣряетъ ихъ наличность. Къ числу чертъ, измѣненіе которыхъ замѣчается только по прошествіи многихъ лѣтъ, принадлежатъ напр., черты индивидуальнаго характера человѣка. Рѣзкая, быстрая переменѣна характера возможна только при извѣстныхъ душевныхъ заболѣваніяхъ (при такъ назыв. раздвоеніи личности). При душевномъ здоровьѣ характеръ остается, въ своихъ основныхъ чертахъ, относительно-неизмѣннымъ, т. е. тѣ переменны, которымъ онъ подвергается съ теченіемъ времени, или незамѣтны, или такъ несущественны, что мы считаемъ ихъ равными нулю. Признаки національныя, а также сословныя, входящія въ составъ личности, измѣняются въ индивидуумахъ совершенно незамѣтно и нечувствительно, какъ для сознанія самогосубъекта, такъ и для наблюденія со стороны, и только черезъ нѣсколько поколѣній могутъ проявиться такія переменны въ этихъ областяхъ психіи, которыя убѣждаютъ насъ въ томъ, что движеніе въ данномъ направленіи непрерывно шло въ скрытомъ видѣ.—Вотъ именно всѣ такія психическія черты, условно и неточно называемыя величи-

нами постоянными или представляющими нам таковыми, и образуют психологическую *форму* личности. Въ эту *форму* жизнь личности вкладывается постоянно, какъ-бы kaleidosкопически измѣняющееся *содержаніе* мыслей, чувствъ, страстей, волевыхъ актовъ.

Съ возрастомъ, образованіемъ, развитіемъ ума, опытомъ жизни, подъ воздѣйствіемъ среды, профессіи и т. д., это содержаніе измѣняется количественно и качественно, и вся совокупность процессовъ, изъ которыхъ оно складается, образуетъ *духовную жизнь* личности, ея индивидуальную *психическую исторію*. Эта *жизнь* можетъ быть болѣе или менѣе интенсивна, эта *исторія* можетъ быть болѣе или менѣе богата внутренними, психическими событіями. Сущность процесса сводится здѣсь къ видимой или ощущаемой, сознаваемой перемѣнѣ содержанія при неощущаемомъ, невидимомъ, несознаваемомъ измѣненіи формы. Такъ Пьеръ Безуховъ въ эпоху кутежей и буйствъ, по своему душевному содержанію, былъ не тотъ, какимъ онъ сталъ напр. въ періодъ увлеченія масонствомъ, но съ точки зрѣнія *формы*, это былъ и тогда, и потомъ все тотъ-же Пьеръ, потому что если и произошли какія-нибудь измѣненія въ его характерѣ, то они были совершенно незамѣтны. Во всѣ эпохи своей жизни Пьеръ является все тѣмъ-же чудаковатымъ и благодушнымъ Пьеромъ, съ умомъ, склоннымъ къ рефлексіи, съ тѣмъ же характеромъ и темпераментомъ. Теперь представимъ себѣ такой случай: человѣкъ переживаетъ довольно разнообразную вѣдшнюю исторію, а между тѣмъ его внутренней міръ представляется вамъ почти неизмѣннымъ; самое содержаніе его души въ 50 лѣтъ осталось тѣмъ-же, какимъ было оно въ 20 лѣтъ. Въ такомъ человѣкѣ вы не усмотрите величинъ *перемѣнчивыхъ*, вамъ будетъ казаться, что вся его психія состоитъ изъ однихъ *постоянныхъ* величинъ, — и вы скажете, что онъ — одна *психологическая форма* — безъ содержанія. Оставляя въ сторонѣ исключительные случаи этого рода и имѣя въ виду только средняго нормального человѣка, мы скажемъ, что въ дѣйствительности такихъ людей безъ содержанія и съ одной формой — нѣтъ, но возможны различныя степени приближенія къ подобному укладу духа. И, конечно, мы въ правѣ, для тѣхъ или другихъ цѣлей, напр. научныхъ или художественныхъ, представить себѣ идеальный случай этого рода. Вообразимъ себѣ внутреннюю, душевную исторію человѣка какъ-бы приостановленную, допустимъ, что если въ положительномъ содержаніи его мыслей, чувствъ, волевыхъ актовъ и совершаются нѣкоторыя перемѣны, то онѣ совершенно ничтожны; примемъ ихъ равными нулю; согласимся признать его душевное содержаніе величинъ *постоянной*. Тогда мы уже не будемъ въ состояніи отличать его отъ *формы*, — въ нашихъ глазахъ оно сольется съ формой. Такой опытъ и сдѣлалъ Толстой, создавъ образъ Каратаева.

Вотъ и постараемся разсмотрѣть тѣ психическія черты, изъ кото-

рыхъ складывается формальная личность Каратаева. Для удобства анализа и большей ясности изложенія мы будемъ выдѣлять эти черты одну за другою, чтобы, уяснивъ себѣ ихъ природу, впоследствии перейти отъ ихъ анализа къ ихъ синтезу.

Сперва бросается въ глаза та черта, которую можно назвать *формальной общежительностью* (sociabilité), натуральнымъ альтруизмомъ, естественнымъ чувствомъ (пожалуй, инстинктомъ) общности. Въ слѣдующемъ листѣ главы XIII-ой (I-ой части IV-го тома) эта черта воспроизведена въ такихъ выраженіяхъ, что мы невольно вспоминаемъ *общественныхъ животныхъ*, напр. муравья, или пчелу: «...каждое дѣйствіе его было проявленіемъ неизвѣстной ему дѣятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь: она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ». Эти слова можно было-бы отнести напр. къ муравью, еслибы ими исчерпывалось опредѣленіе общежительности Каратаева, еслибы мы не знали, какъ *далеко* простирается она, переходя за предѣлы сословія, національности, религіи, государства, — вообще всего, что дробить людей. Жизнь муравья имѣетъ смыслъ только какъ частица жизни того муравейника, къ которому принадлежит данная особь. Жизнь пчелы имѣетъ смыслъ только какъ часть общей жизни ея улья. Еслибы Каратаевъ чувствовалъ, что его жизнь имѣетъ смыслъ только какъ частица общей жизни, его семьи или деревни, — въ такомъ случаѣ онъ уподобился-бы муравью, пчелѣ и т. д. Но этого-то ограниченія и нѣтъ, — и его отсутствіе и придаетъ такую значительность и такой интересъ фигурѣ Каратаева. Представимъ себѣ муравья, который вдругъ почувствовалъ-бы, что его жизнь есть частица жизни всей совокупности муравьевъ, живущихъ на всемъ земномъ шарѣ: такой муравей былъ-бы муравьинымъ Каратаевымъ.

Имѣя въ виду пока только эту сторону натуры Каратаева, мы опредѣлимъ его такъ: это прежде всего — такой русскій мужичекъ, въ которомъ вѣковѣчные «мірскіе», общежительные инстинкты расширены до послѣднихъ предѣловъ и объемлютъ все человѣчество, безъ различія сословія, національности, вѣры и т. д.

Существуютъ-ли такіе русскіе мужики *въ дѣйствительности*, — эт ужъ другой вопросъ, на который не берусь дать отвѣта. Но для меня не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что *въ искусствѣ* такой образъ не только возможенъ, но и глубоко-правдивъ. Каратаева въ дѣйствительности можетъ и не быть, но *каратаевскія черты* несомнѣнно существуютъ въ русской *народно-національной психологии*. Обращаясь къ народно-національной сторонѣ Каратаева, мы, для удобства, разсмотримъ сперва то, что есть въ Каратаевѣ специфически *народнаго, крестьянскаго*, а потомъ обратимся къ опредѣленію *національнаго* элемента въ немъ.

Въ основѣ психи Каратаева лежатъ типичныя черты народной, крестьянской психологии. Долгая служба въ солдатахъ не искажила этихъ чертъ, не нарушила ни на йоту того душевнаго строя, который слагается изъ ихъ совокупности. Солдатъ по службѣ, Каратаевъ психологически совсѣмъ не солдатъ. Онъ—русскій мужикъ, крестьянинъ. «Онъ неохотно говорилъ про свое солдатское время... Когда онъ рассказывалъ, то преимущественно изъ своихъ старыхъ и видимо дорогихъ ему воспоминаній «христіанскаго», какъ онъ выговаривалъ, крестьянскаго быта. Поговорки, которыя наполняли его рѣчь, не были тѣ, большею частью неприличныя и бойкія поговорки, которыя говорятъ солдаты, но это были тѣ народныя изреченія, которыя кажутся столь незначительными, взятая отдѣльно, и которыя получаютъ вдругъ значеніе глубокой мудрости, когда они сказаны кстати».—«Попавъ въ плѣнъ, обросши бородою, онъ видимо отбросилъ отъ себя все напущенное на него, солдатское, и невольно возвратился къ прежнему крестьянскому, народному складу». (Томъ IV, ч. I, гл. XIII). Эта крестьянско-народная основа прекрасно иллюстрирована въ предыдущей главѣ, XII-ой, рассказомъ Каратаева о его прошломъ, о родителяхъ, братьяхъ, о томъ, какъ хорошо они жили, какъ потомъ его взяли въ солдаты и т. д. Выдѣляя эту сторону, мы прежде всего отмѣтимъ въ ней то, что Толстой называетъ «благообразіемъ» душевнаго склада Каратаева. Въ той-же главѣ XIII-ой читаемъ: «...главная прелесть его рассказовъ состояла въ томъ, что въ его рѣчи событія самыя простыя получали характеръ торжественнаго благообразія. Онъ любилъ слушать сказки... но больше всего любилъ слушать рассказы о настоящей жизни. Онъ радостно улыбался, слушая такіе рассказы, вставляя слова и дѣлая вопросы, клонившіеся къ тому, чтобы уяснить себѣ благообразіе того, что ему рассказывали».—Только-что упомянутый рассказъ самого Каратаева (въ гл. XII-ой) является обращеніемъ этой душевной черты. Онъ между прочимъ вспоминаетъ, какъ за порубку въ чужой рощѣ его били, судили и отдали въ солдаты. Оказалось, что все это—къ лучшему («думали,—горе,—а нъ радость!»): дѣло въ томъ, что иначе пришлось-бы идти въ солдаты его брату, Михайлѣ, у котораго «самъ-нять ребяты», между тѣмъ какъ у Платона только «солдатка осталась». И когда потомъ Платонъ пришелъ домой, «на nobывку», онъ увидѣлъ, что семья живетъ лучше прежняго («животовъ полонъ дворъ»). И сказалъ отецъ: «мнѣ, говоритъ, всѣ дѣтки равны; какой палець ни укуси—все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайлѣ-бы итти». И позвалъ всю семью, бабу, дѣтей, внучатъ,—и всѣмъ велѣлъ поклониться Платону въ ноги.—Это—дѣлая притча, въ которой есть что-то евангельское. И благообразіе отношеній, въ ней обнаруженное, родится съ тѣмъ духомъ любви, простоты и правды, идеалъ котораго впоследствии Толстой будетъ искать на почвѣ синтеза начала *народно-крестьянскаго* съ *еван-*

гельскимъ. Предвареніемъ этого синтеза или намекомъ на него является между прочимъ смѣшеніе Каратаевымъ понятій «крестьянскаго» и «христіанскаго». То, что Каратаевъ безсознательно смѣшиваетъ, Толстой соединяетъ сознательно, и впоследствии это послужитъ ему исходной точкою въ его исканіяхъ идеала высшей нравственной правды.

Теперь спрашивается: составляетъ ли душевное благообразіе, основанное на указанномъ сочетаніи крестьянскаго съ евангельскимъ, личную (индивидуальную) особенность Каратаева?

На этотъ вопросъ мы должны отвѣтить рѣшительнымъ «нѣтъ». Прежде всего очевидно, что у Каратаева это черта *фамильная*. Таковъ же его отецъ, братъ Михайло,—въ большей или меньшей мѣрѣ такова вся семья Каратаевыхъ. Это ясно изъ «притчи». Но можно пойти и дальше. Можно утверждать, что семья Каратаевыхъ представлена Толстымъ какъ идеально-типичный образецъ крестьянской психологии вообще, въ которой Толстой усматриваетъ черты того душевнаго благообразія, о которомъ идетъ рѣчь. Въ одной семьѣ онъ выступаютъ ярче, въ другой слабѣе, но онѣ коренятся—по не выраженной, но ясно-связующей мысли Толстого—въ самыхъ основахъ стараго, патриархальнаго быта, въ устояхъ народной жизни, въ «мірскомъ» и трудовомъ началѣ, въ наивномъ міросозерцаніи народа, интуитивно овладѣвшаго высшей правдой, раньше и лучше мудрыхъ и ученыхъ, какъ въ свое время овладѣли ею простые галилейскіе рыбаки.

Платонъ Каратаевъ—только представитель *этой* стороны народнаго духа. Въ немъ эти черты, не его личныя, а *крестьянскіе*, собраны, сконцентрированы, увеличены, показаны подъ микроскопомъ,—и Толстой, можно сказать, прилагаетъ особыя старанія, чтобы въ Платонѣ Каратаевѣ не оказалось ничего лично ему принадлежащаго, ничего индивидуально-оригинальнаго, чтобы все, до послѣднихъ мелочей, было въ немъ народнымъ и крестьянскимъ. Сюда относится, напр., намекъ на то, что порубку чужой рощи Каратаевъ признаетъ *грѣхомъ*, очевидно, чисто-формальнымъ, и что вмѣстѣ съ народомъ онъ по стародавнему смотритъ на лѣсъ какъ на общую, народную собственность, и сама по себѣ порубка въ его глазахъ не составляетъ пятна на общемъ фонѣ *благообразія*.

Черты народной психологии, на которыя мы до сихъ поръ указали, въ общемъ, за вычетомъ подробностей, не представляютъ собою явленія специально-русскаго и могутъ быть найдены—*mutatis mutandis*—и у другихъ націй. Художники разныхъ національностей нерѣдко открывали въ своемъ народѣ черты, родственныя духу Евангелія. Я припоминаю у одного изъ самыхъ большихъ художниковъ вѣка, у Мопассана, чудный рассказъ (Le papa à Simon), производящій впечатлѣніе настоящей евангельской притчи,—рассказъ, гдѣ простые, грубые на видъ кузнецы являются носителями глубокаго, тонкаго, христіански-гуманнаго чувства.

любви и правды. Не один Толстой открывалъ въ своемъ народѣ евангельское. Великое историческое и общечеловѣческое значеніе Евангелія на томъ и основано, что въ каждомъ народѣ есть нѣчто ему сродни. Если бы въ Платонѣ Каратаевѣ не было, кромѣ этой черты (сочетанія мужицкаго съ евангельскимъ), еще и другихъ важныхъ чертъ, на которыя укажемъ ниже, то онъ былъ бы очень широкимъ *общечеловѣческимъ* типомъ, объемлющимъ соотвѣтственныя стороны духа у разныхъ народовъ. Онъ былъ бы во всемирной литературѣ тѣмъ, чѣмъ, по словамъ Толстого, онъ былъ и навсегда остался для Пьера Безухова, — «вѣчнымъ олицетвореніемъ духа простоты и правды» (гл. XIII). На самомъ дѣлѣ, однако, этого нѣтъ. Толстой, повинаясь какому-то категорическому императиву своего генія, и на этотъ разъ *создалъ* образъ, сдѣлавъ Каратаева типомъ специально-русскимъ, *національнымъ*.

Каратаевъ не просто представитель народной, крестьянской психологии, которая у разныхъ націй имѣетъ много общаго, не только типъ нищихъ духомъ и чистыхъ сердцемъ, — онъ въ то же время вѣрный и яркій выразитель *русской національной психологии*, въ силу чего тотъ «духъ простоты и правды», котораго олицетвореніемъ онъ служитъ, получаетъ своеобразное значеніе и особую психологическую постановку.

Обращаясь къ этой сторонѣ Каратаева, я сперва укажу на двѣ черты, которыя, взятая отдѣльно и въ связи съ другими признаками русской національной психологии, найдутся и у другихъ народовъ. Хотя бы и въ иномъ видѣ; только ихъ совмѣщеніе и своеобразное сочетание составляютъ черту специфически-русскую. Я имѣю въ виду нашъ *умѣренный* (сравнительно съ восточнымъ, азіатскимъ) *фатализмъ* и нашъ *неумѣренный* (сравнительно съ западно-европейскимъ) *оптимизмъ*.

Едвали найдется въ русской литературѣ другой образъ, къ которому было бы такъ примѣнимо извѣстное понятіе о русскомъ *смирении*, какъ *повидимому* примѣнимо оно, во всемъ его объемѣ, къ Каратаеву. Любопытно, что самъ Толстой этого термина не употребляетъ. Онъ выражается иначе, называя Каратаева «олицетвореніемъ всего *русскаго* добраго и круглаго» и «непостижимымъ, круглымъ и вѣчнымъ олицетвореніемъ духа простоты и правды» (т. IV, ч. I, гл. XIII). Эти термины, конечно, не случайно подвернулись, — они явились точнымъ выраженіемъ мысли Толстого. Своими опредѣленіями и метафорами («непостижимый», «вѣчный», «круглый») Толстой даетъ намъ поэтическіе намеки на то, какъ самъ онъ понимаетъ Каратаева и какая идея воплощена имъ въ этомъ образѣ. Нельзя отрицать, конечно, что въ Каратаевѣ представленъ такой укладъ духа, который весьма возможно назвать «смирениемъ», понимаемымъ, какъ русская національная и историческая черта. Но возникаетъ вопросъ: что же оно такое — это *смирение*? Какова его психология, и нельзя-ли разложить его на другіе пси-

хические элементы? И почему, въ самомъ дѣлѣ, Толстой избѣгаетъ этого термина, повидимому, столь удобнаго, простаго, напрашивающагося? ¹⁾

То, что въ Каратаевѣ можно было бы назвать *смирениемъ*, легко разлагается на *фатализмъ* и своеобразный *оптимизмъ*. «Рокъ головы ищетъ», говоритъ Каратаевъ. — «А мы все судимъ: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружокъ, какъ вода въ бреднѣ: тянешь — надулась, а вытащишь — ничего нѣту» (гл. XII). Этуо сентенцію онъ подводитъ итогъ уже извѣстному намъ разсказу о томъ, какъ его взяли въ солдаты и какъ все вышло къ лучшему. Та-же фаталистическая и вмѣстѣ оптимистическая точка зрѣнія сквозитъ въ другомъ разсказѣ Каратаева — о купцѣ, который по судебной ошибкѣ былъ сосланъ на каторгу (т. IV, ч. III, гл. XIII). Но яснѣе и художественнѣе всего эта сторона Каратаева представлена изображеніемъ всей его повадки, его натуры. непосредственно-сказывающей въ каждомъ движеніи его, — неизмѣнно-благодущнаго, неунывающего настроенія его духа, его душевной (и физической: психія у него въ полной гармоніи съ физической организацией) нестомчивости, исключительной способности примиряться со всѣми обстоятельствами, въ убѣжденіи, что такъ суждено («рокъ головы ищетъ») и что все, въ концѣ концовъ, обернется къ лучшему. Перечитайте въ гл. XIII-ой (т. IV, ч. I) описаніе его физической и душевной бодрости, — какъ онъ, «казалось, не понималъ, что такое усталость и болѣзнь», какъ, лежа спать, онъ говорилъ: «положи Господи, камушкомъ, подними калачикомъ», а просыпаясь повторялъ: «легъ — свернулся, всталъ — встряхнулся», — перечитайте въ началѣ той же главы описаніе его внѣшности, его повадки, его «спорныхъ *крутыхъ* движеній», его голоса, глазъ, выраженія «невинности и юности» (несмотря на возрастъ за 50 лѣтъ) и т. д. — и вы убѣдитесь, что передъ вами — олицетвореніе того особаго душевнаго уклада, который лучше всего охарактеризовать терминомъ *фаталистическій оптимизмъ* и для котораго терминъ «смирение», хотя и возможенъ, но во многихъ отношеніяхъ *неудобенъ*. И не трудно видѣть, почему именно онъ *неудобенъ*. Еслибы Каратаевъ былъ *сознательная* личность, съ извѣстнымъ положительнымъ содержаніемъ, съ лично-выработаннымъ мировоззрѣніемъ, съ рефлексіей, — тогда дѣло другое: тогда въ немъ несомнѣнно было бы *смирение*, потому что была бы и *гордость*. Это — коррелятивныя психическія черты, принадлежащія не къ формальнымъ элементамъ духа, а

¹⁾ Покойный И. Н. Страховъ, въ своихъ извѣстныхъ статьяхъ о «Войнѣ и Мирѣ», отправляясь отъ установленнаго Ап. Григорьевымъ понятія о *простомъ* и *смирномъ* типѣ въ противоположность *блестящему* и *хищному*, мимоходомъ разсматриваетъ и Каратаева съ этой точки зрѣнія, но не даетъ подробнаго анализа фигуры. То же самое нужно сказать о соотвѣствующихъ замѣчаніяхъ о Каратаевѣ покойнаго О. Э. Миллера въ его лекціяхъ о Толстомъ.

къ *содержанию* личности,—котораго-то, какъ мы знаемъ, у Каратаева собственно говоря, и нѣтъ.

Здѣсь необходимо, прежде чѣмъ пойдемъ дальше, устранить одно возможное недоразумѣніе. Могутъ возразить мнѣ, что, вѣдь, есть-же *національная*, есть *сословная гордость*, и что, стало быть, возможна, по крайней мѣрѣ, гордость (если не смиреніе) въ сферѣ формальныхъ элементовъ духа. Я отвѣчу, что не только гордость, но и смиреніе имѣеть несомнѣнное отношеніе къ этой сферѣ, но при всемъ томъ я рѣшительно не могу признавать эти національныя или сословныя чувства элементами самой національной или сословной психологіи. Я думаю, что черты формальныя (сословныя, національныя) являются только *предметомъ* или *содержаніемъ* этихъ чувствъ — смиренія, гордости, но само-то смиреніе и сама гордость принадлежатъ къ другой сферѣ духа. Англичанинъ *гордъ* тѣмъ, что онъ англичанинъ, не потому, что онъ — англичанинъ, а потому, что онъ давнымъ давно уже — рѣзко выраженная индивидуальность, сознательная личность. И чтобы гордиться своею національностью, для этого не нужно быть непременно англичаниномъ, для этого достаточно быть, напр., нѣмцемъ или французомъ. Но что для этого безусловно необходимо — это быть личностью, выдѣлять себя изъ массы, не тонуть въ массѣ, сознавать свое человѣческое достоинство, имѣть свою индивидуальную гордость, которая естественно и захватываетъ въ районъ своего проявленія, въ числѣ всего прочаго, и черты національныя. Такая личность будетъ гордиться и своимъ языкомъ, и складомъ національнаго духа, и національною литературой, и самымъ фактомъ своей принадлежности къ данной націи. Вотъ почему текущій фазисъ цивилизаціи, характеризующійся развитіемъ крайняго *индивидуализма*, въ то-же время отмѣченъ и крайнимъ развитіемъ чувствъ національной чести и гордости, переходящихъ даже въ шовинизмъ. Можно вѣрить (и пишущій эти строки принадлежитъ къ числу такихъ вѣрующихъ), что въ грядущемъ, съ прекращеніемъ индивидуалистическаго фазиса, національныя особенности изъ предмета гордости превратятся въ предметъ смиренія. Но то, что представляется только возможнымъ въ сферѣ національной психологіи,—въ сферѣ психологіи сословной частью уже осуществилось, частью осуществляется на нашихъ глазахъ. Встрѣтить человѣка, для котораго его сословныя черты являются предметомъ не гордости, а смиренія, — теперь не рѣдкость,—и у насъ самъ Л. Н. Толстой — яркій образецъ этой эволюціи. Мы, русскіе, для которыхъ Каратаевъ такъ типиченъ, только вступаемъ въ періодъ развитія національной гордости ¹⁾ и отъ грядущаго національнаго смиренія отстоимъ

¹⁾ *Сословная гордость* у насъ уже прошла свой путь—«недоразвитія» («не распѣла и отцвѣла въ утрѣ пасмурныхъ дней») и спѣшитъ частью въ самый дѣлъ переити, частью—нарядиться въ *смирне*.

гораздо дальше англичанъ, которые такъ давно и такъ по праву горды и, вѣроятно, приближаются къ концу «гордаго» фазиса въ развитіи національнаго самочувствія и самосознанія. Эти замѣчанія могутъ быть кратко выражены въ такой формулѣ: чувства гордости и смиренія, предметомъ которыхъ могутъ быть черты или явленія національныя, какъ и многое другое, сами принадлежатъ не къ формальной психологіи национальности, а къ психологіи личности, индивидуальнаго «я», вырабатывающагося и получающаго ту или другую постановку, тотъ или иной укладъ духа на почвѣ процессовъ социальныхъ (въ обширномъ смыслѣ,—государственныхъ, общественныхъ, экономическихъ и др.).

И такъ, Каратаевъ не есть олицетвореніе національнаго смиренія, потому что онъ не личность съ положительнымъ содержаніемъ, съ рефлексіей, съ собственнымъ міровоззрѣніемъ, а только частица массы, еще недоразвившейся до національной гордости.

Вотъ почему, говоря о Каратаевѣ, я, по примѣру Толстого, отказываюсь отъ термина *смирненіе* и предпочитаю говорить о *фатализмѣ* и *оптимизмѣ*.

У Каратаева опять-таки эти черты—не личное его состояніе: онъ принадлежитъ народу, изъ котораго онъ вышелъ. Мало того: онъ — не исключительно *сословныя* черты крестьянства. Кутузовъ, принадлежащій къ высшему классу и лицо историческое, раздѣляетъ съ Каратаевымъ эту особенность душевнаго склада и у самаго Л. Н. Толстого она является характерною окраскою, даже основою его философско-историческихъ воззрѣній, подъ вдохновеніемъ которыхъ онъ и писалъ «Войну и Мирь». Всѣ мы, къ какому-бы сословию, къ какой-бы партіи ни принадлежали, какихъ-бы взглядовъ на вещи ни придерживались, — мы всѣ, русскіе, въ большей или меньшей мѣрѣ *фаталисты* и *оптимисты*. Это у насъ черта *національная*. Различія усматриваются въ подробностяхъ, въ способѣ отраженія этой національной особенности въ сознаніи отдѣльныхъ лицъ. Одинъ говоритъ «рокъ» и «все къ лучшему», другой скажетъ, какъ Облонскій (въ «Аннѣ Карениной») «все образуется», третій — «авось, кривая вывезетъ!» И всѣ мы, сознательно или безсознательно, вѣруемъ въ «фатальный ходъ вещей», но это — не мрачный и абсолютный фатализмъ народовъ Востока, это—умѣренный и, въ основѣ, правильный фаталистическій взглядъ, соединенный съ оптимистическимъ упованіемъ на лучшее будущее. По отношенію къ настоящему русскій человѣкъ можетъ быть, съ той или иной точки зрѣнія, большимъ пессимистомъ, все осуждать, быть недовольнымъ, но относительно будущаго онъ всегда оптимистъ: онъ всегда доволенъ этимъ будущимъ. Я называю этотъ оптимизмъ *неумѣреннымъ*, потому что взоръ, упорно и мечтательно устремленный въ невидимое грядущее, не достаточно воспримчивъ къ настоящему и, скользя по его верхамъ, не оцѣниваетъ въ должной мѣрѣ всѣхъ его изъяновъ, даже вопіющихъ.

Постараемся ближе опредѣлить эту національную черту, попытаемся уловить подлинное психическое явленіе, скрывающееся за понятіями, съ которыми мы имѣемъ дѣло.

Прежде всего, что такое вообще *фатализмъ*, взятый отдѣльно отъ національнаго склада того или другого народа? Это—извѣстная *форма мысли, способъ пониманія явленій, точка зрѣнія на вещи*. На вопросъ—«какая это форма и съ чѣмъ классифицируется»—мы отвѣтимъ такъ: она, въ сферѣ мышленія до-научнаго, то-же самое, что, въ области научной мысли, идея *законосообразности* всего сущаго. Источники обѣихъ—въ «закопѣ» причинности. Уже изъ этого опредѣленія ясно, что фатализмъ есть явленіе общечеловѣческое, и всѣ націи въ своемъ умственномъ развитіи проходятъ черезъ этотъ фазисъ мышленія. Оттуда—выводъ, что фатализмъ, понимаемый только какъ форма чистой мысли, не можетъ быть характерной и постоянной принадлежностью какой нибудь опредѣленной націи. И дѣйствительно, во всѣхъ міеологіяхъ, религіяхъ и міровоззрѣніяхъ всѣхъ культурныхъ народовъ мы находимъ выработанную систему фатализма, и у некультурныхъ—его зачатки. Древніе римляне со своимъ *Fatum*, древніе греки съ ихъ *Μορα* и *Ανάγκη* были умственно—фаталистичны не менѣе Каратаева съ его «Рокомъ».

И при всемъ томъ, полагаю, всякій согласится, что едва-ли греки и римляне, а еще болѣе новыя, германскія и романскія, націи могутъ быть названы фаталистичными въ томъ смыслѣ, въ какомъ по праву называются такъ народы Востока и русская національность.

Диллема разрѣшается просто: есть фатализмъ и фатализмъ, т. е. этотъ терминъ употребляется для обозначенія двухъ психическихъ явленій, можетъ быть, и состоящихъ въ нѣкоторомъ сродствѣ, но принадлежащихъ къ двумъ различнымъ сферамъ духа. Есть фатализмъ, какъ форма мысли, какъ стадія въ умственномъ развитіи, и есть фатализмъ, какъ черта національнаго характера. Первый, принадлежа къ сферѣ чистой мысли, конечно, можетъ вліять (если не помѣшаютъ другія воздѣйствія) на сферу воли. Второй принадлежитъ именно къ сферѣ воли,—онъ *характерный признакъ національнаго склада волевыхъ процессовъ*, и уже отсюда онъ воздѣйствуетъ на мысль, ища въ ней родственныхъ себѣ формъ и находя такую-то въ томъ чисто-умственномъ фатализмѣ, о которомъ мы говорили, какъ объ извѣстной стадіи въ умственномъ развитіи. Когда эта стадія будетъ пройдена и міеологическая форма фатализма уступить свое мѣсто другой, высшей формѣ, напр. идеѣ законосообразности, тогда фатализмъ волевой не преминетъ вступить въ сочетаніе и съ этою послѣднею,—и не только не исчезнетъ, а даже можетъ еще укрѣпиться. Живой примѣръ—фатализмъ Л. Н. Толстого, соотвѣтственная теорія котораго, отнюдь не міеологическая, а

въ своемъ родѣ рациональная и не чуждая нѣкоторыхъ вполне научныхъ точекъ зрѣнія, изложена имъ въ заключительномъ трактатѣ, составляющемъ вторую часть эпилога «Войны и Мира».

Чтобы выразиться точнѣе, мы скажемъ не «волевой фатализмъ», а «такой укладъ воли, который въ сферѣ мысли проявляется въ созданіи фаталистическихъ воззрѣній, при чемъ все равно», отливаются-ли эти воззрѣнія въ форму міеологическаго Рока, или же въ форму научно-философскихъ понятій о законосообразности вещей, о ничтожной роли личности въ ходѣ событій, объ историческихъ событіяхъ, какъ о результатѣ, произведенномъ совокупнымъ дѣйствіемъ милліоновъ волевыхъ актовъ и т. д.

Этотъ *укладъ воли*, представляющійся нашей національной чертой, въ свою очередь можетъ быть ближе опредѣленъ или «описанъ» такими понятіями, какъ слабость личной и общественной инициативы, нѣсколько-угнетенное самочувствіе личности, преобладаніе въ ней пассивности надъ активностью,—однимъ словомъ, совокупностью тѣхъ психическихъ чертъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ волевой сферѣ, которыя, въ значительно утрированномъ и отчасти патологическомъ видѣ, даютъ «картину»—*Обломовщины*.

У Гончарова этотъ русскій національный укладъ воли представленъ не въ нормальномъ, здоровомъ состояніи, а какъ-бы въ формѣ переходной къ патологической парализаціи воли,—формѣ, мотивированной картиною помѣщичьей жизни при крѣпостномъ правѣ. У Толстого въ лицѣ Каратаева тотъ-же укладъ взятъ въ его нормальной постановкѣ. Обломовъ—лѣнтяй. Каратаевъ—человѣкъ труда и работаетъ не покладая рукъ; Обломовъ не способенъ ни къ какимъ проявленіямъ воли, кромѣ лежанія на диванѣ, Каратаевъ, напротивъ, дѣятельно проявляетъ свою волю,—но только не какъ личность, идущая къ сознательно-поставленнымъ цѣлямъ, а какъ атомъ, участвующій въ общемъ стихійномъ движеніи массъ. Каратаевъ—участникъ въ жизни цѣлаго, Обломовъ—отщепенецъ ото всякой общей жизни.

Такую-же параллель можно провести между Кутузовымъ и Обломовымъ. Фельдмаршалъ, облеченный неограниченной властью, самъ не вѣрять въ силу своихъ повелѣній, въ могущество своей личной инициативы; онъ сознательно «воздерживается» отъ вмѣшательства въ естественный и фатальный ходъ вещей; его лозунгъ—«терпѣніе и время». Въ глазахъ иностранца, которому чуждъ и непонятенъ такой укладъ или типъ воли, это—тотъ-же лѣнтяй Обломовъ, и напр. *Волоз* (въ статьяхъ о Толстомъ) рѣшительно не можетъ понять, что хорошаго нашель Толстой въ этомъ генералѣ, который «ничего не дѣлаетъ» и «спитъ въ военномъ совѣтѣ». Но то, что непонятно иностранцу, для насъ ясно, какъ Божій день, и мы отлично видимъ различіе между

этими двумя разновидностями одного и того-же волевого уклада,—Кутузовским и Обломовским. Волевой аппарат Кутузова есть нормальный русский волевой аппарат, взятый въ его лучшемъ выраженіи и въ наиболѣе цѣлесообразномъ приложеніи къ дѣлу, въ данномъ случаѣ историческому и народно-національному. Въ Обломовѣ тотъ-же аппаратъ опустился ниже нормы: онъ парализованъ крѣпостнымъ правомъ. «Недѣланіе» Кутузова есть нашъ русский способъ «дѣланія»: этого *типа* волевыми актами мы всю нашу исторію вѣками «дѣлали» и, вѣроятно, и впредь будемъ «дѣлать»; или, лучше сказать, она сама такъ дѣлалась нашими волевыми актами. «Недѣланіе» Обломова есть обратная сторона этой медали, показывающая, какъ легко портится такой укладъ воли, и въ какой безвыходный «тупикъ» можетъ завести насъ эта порча.

Разсмотрѣнными чертами еще не исчерпывается психія Каратаева. Намъ предстоитъ еще отдать себѣ отчетъ въ слѣдующемъ: куда отнесемъ мы тотъ «духъ простоты и правды», который присущъ Каратаеву: къ личному-ли содержанію его души, или къ его народно-крестьянской психологической формѣ, или, наконецъ, къ его національной личности?

Для правильной постановки вопроса, вспомнимъ, что ту-же черту почти въ тѣхъ-же выраженіяхъ, Толстой приписываетъ и Кутузову. Не мѣшаетъ имѣть въ виду, что и Обломовъ изображенъ также, какъ воплощеніе своего рода «простоты и правды». Не случайны, конечно, эти совпаденія. У всѣхъ трехъ эта черта оказывается на-лицо потому, что всѣ три—русскіе національные типы. Ея присутствіе въ нашемъ національномъ складѣ отмѣчалось много разъ, въ особенности наглядно она проявляется въ тѣхъ случаяхъ, когда русский національный пошибъ сталкивается съ національнымъ типомъ романскихъ народовъ, какъ это и было въ эпоху войны 1812 г. Присущая романскимъ націямъ аффектація, риторичность и позированіе еще рѣзче отмѣняетъ нашу *простоту*, которая въ такихъ случаяхъ еще настойчивѣе вызываетъ представленіе *правды*, при чемъ наблюдатель легко поддается иллюзіи, заставляющей его думать, что противоположныя черты, аффектація и пр., непременно будто-бы сочетаются съ какой-то *неправдою*, съ нѣкоторой внутренней фальшью. На этомъ-то пунктѣ и начинается настоящая *неправда* въ нашихъ сужденіяхъ о національномъ характерѣ другихъ народовъ.

Чтобы въ этого рода вопросахъ не впасть въ заблужденіе и несправедливость, нужно разъ навсегда отрѣшиться отъ соблазна—квалифицировать *національныя* признаки, какъ достоинства и недостатки, какъ добродѣтели и пороки. Національныя черты суть *свойства*, а не *качества*, и къ нимъ нужно относиться какъ напр. къ цвѣту волосъ, глазъ, темпераменту и т. д. Въ числѣ русскихъ національныхъ свойствъ есть *специфическая простота и правда*, но ни та, ни другая—не добродѣ-

тель. Аффектація—одна изъ національныхъ чертъ романскихъ народовъ, но она не порокъ.

Если «простота», какъ черта національная, не добродѣтель и не должна быть смѣшиваема напр. съ *искренностью*, то что-же она такое? Какъ все національное, она форма, а не содержаніе, она именно та форма душевнаго склада, которая въ сферѣ мысли можетъ быть опредѣлена, какъ минимумъ *риторичности* и *искусственности* въ самомъ процессѣ мышленія, въ сферѣ чувствъ, какъ минимумъ *приподнятыхъ, аффектированныхъ* настроеній, въ сферѣ воли, какъ минимумъ *утрировки* въ волевыхъ выраженіяхъ (напр. въ жестахъ, поступкахъ) сравнительно съ волевымъ импульсомъ. Не трудно видѣть, что эта формальная *простота* въ этическомъ смыслѣ безразлична, и въ нее, какъ въ форму, можетъ быть вложено что угодно, истина и ложь, справедливость и несправедливость, искренность и коварство и т. д. Можно совершенно *просто*, безъ гѣни риторики, безъ всякой аффектаціи настроенія и безъ утрировки волевыхъ проявленій подумать, сказать, сдѣлать вошющую ложь, неправду, какое угодно безобразіе. И наоборотъ: противоположная форма, риторика мысли и рѣчи, аффектированность чувства, утрировка волевыхъ выраженій, можетъ имѣть своимъ содержаніемъ святую истину, справедливое отношеніе къ вещамъ и людямъ, добродѣтельный поступокъ.

Таково понятіе формальной *простоты*. Но причѣмъ тутъ еще *правда*? Есть два основанія, почему мы говоримъ «простота и правда», не ограничиваясь одной «простотой». Во-первыхъ, *простота*, понимаемая въ томъ смыслѣ, какъ я ее только-что опредѣлилъ, несмотря на свою формальность, невольно вызываетъ въ умѣ представленіе о какой-то не то правдивости, не то искренности, не то адекватности, между рѣчью и мыслью, чувствомъ и поступкомъ, жестомъ и настроеніемъ и т. д. Оттуда—невольное стремленіе идеализировать,—скажемъ, повысить чиномъ эту «простоту» и величать ее «правдой». Это повышение, какъ увидимъ ниже (спеціально въ отношеніи Каратаева и Кутузова), имѣетъ свои оправданія и можетъ привести къ хорошимъ результатамъ. Но, вообще говоря, нужно остерегаться переносить эти понятія изъ области формы въ сферу содержанія: И. А. Хлестаковъ, какъ истинно-русскій человекъ, жетъ совершенно *просто* и даже *правдиво*, ибо стульевъ онъ не ломаетъ и «30,000 курьеровъ» и пр. являются адекватнымъ, «правдивымъ» выраженіемъ его «мысли», его душевнаго подъема въ данную минуту, да и всего склада его души. Правда, о которой мы говоримъ, столь-же въ сущности формальна, какъ и *логическая истина*, которая, какъ извѣстно, можетъ и не совпадать съ истиной объективной. Указанное мною основаніе, почему мы къ «простотѣ» присоединяемъ еще и «правду», можетъ быть названо *психологическимъ въ тѣсномъ смыслѣ*:

это ассоциация двухъ понятій, изъ которыхъ второе есть лишь усиленное и идеализированное первое. Но есть еще и другое основание, чисто лингвистическое, которое въ данномъ случаѣ имѣетъ большое значеніе, потому что дѣло идетъ о явленіи національной психологии, а послѣдняя какъ извѣстно, находится въ тѣснѣйшей связи съ языкомъ. Выраженіе «простота и правда» принадлежитъ къ числу весьма распространенныхъ въ разныхъ языкахъ оборотовъ, состоящихъ въ томъ, что *одно* понятіе выражается *двумя* терминами. Таковы наши народные выраженія: «свѣтъ-заря», «путь-дорога» и т. д. Въ высокой степени характерно, что именно въ *русскомъ* языкѣ такая «пара» составлена изъ представленій «простоты» и «правды». При этомъ, какъ извѣстно, кругъ представленій или понятій, входящихъ въ составъ каждаго изъ этихъ терминовъ, довольно великъ. «Простота» отъ того чисто-формального значенія, о которомъ идетъ у насъ рѣчь, переносится въ сферу содержанія и употребляется, какъ синонимъ терминовъ *простодушіе, добродушіе, искренность, наивность, даже глупость*. «Правда» является, съ одной стороны синонимомъ формальной «простоты» (въ разсматриваемомъ выраженіи «простота и правда»), съ другой-же—такихъ понятій, какъ объективная истина, какъ субъективная *правдивость*, какъ *нравственная* правда, напр. *справедливость отношеній*. Ясное дѣло, что всѣ эти понятія не могутъ такъ или иначе не ассоціироваться съ разсматриваемымъ парнымъ терминомъ (простота и правда) въ его формальномъ значеніи и должны въ большей или меньшей степени отвлекать его отъ чисто-формального примѣненія—въ область психологическаго содержанія. Однимъ изъ крайнихъ выраженій этой тенденціи является въ народной поэзій образъ Иванушки-дурачка, въ которомъ и «простота» доведена до *глупости*, а «правда»—до высшей *нравственной* правды. Другимъ представителемъ того-же типа, только въ иной постановкѣ, служитъ намъ эпическій богатырь Илья Муромецъ, въ которомъ «простота» развита до *прямоты, искренности, безхитрости*, а «правда» до извѣстныхъ понятій о долгѣ, призваніи, чести и т. д. Какъ самъ терминъ «простота и правда» есть явленіе лингвистически-національное и нереводимъ на другіе языки (подобно греческому *καλοκαγαθία*), такъ и художественные образы, ему отвѣчающіе, суть образы специально-русскіе, національные и часто, цѣликомъ или въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, остаются непонятными для иностранца. И подобно тому, какъ самый терминъ «простота и правда» въ его живомъ употребленіи въ рѣчи невольно выбивается изъ формальной сферы и переносится въ область психологическаго содержанія, повинная не произволу говорящаго, а законосообразному воздѣйствію *ассоциации*, составляющей *національное* достояніе, такъ и соотвѣтственные образы искусства, по праву художника, могутъ быть построены въ томъ-же духѣ—претворенія формальной простоты и формаль-

ной правды въ различнаго рода положительные качества психи. Такое претвореніе есть законная идеализація національной формы. Художникъ въ этомъ случаѣ продолжаетъ традицію народнаго творчества и вноситъ свою лепту въ дѣло національнаго самосознанія и, пожалуй, также содѣйствуетъ облагороженію національной психи. Это его право и обязанность. Объяснить-же *происхожденіе* этихъ образовъ, раскрыть ихъ генезисъ изъ національной *формы* и разложить эту форму на ея составные психическіе элементы, это уже дѣло, право и обязанность критика.

Представленный здѣсь анализъ Каратаева будетъ дополненъ еще нѣкоторыми указаніями въ слѣдующей главѣ, гдѣ мы займемся Кутузовымъ: дополнительные черты обнаружатся изъ сопоставленія Каратаева съ Кутузовымъ, а также изъ разъясненія того значенія, которое принадлежитъ Каратаеву въ дѣлѣ духовнаго возрожденія Шера. Эту главу я закончу только указаніемъ на необходимость перейти отъ анализа къ *синтезу*.

Анализъ безспорно разрушаетъ *непосредственное* цѣльное и живое впечатлѣніе, производимое художественнымъ созданіемъ. Но не одно лишь *непосредственное* впечатлѣніе, которое можно назвать также *наивнымъ*, способно быть цѣльнымъ и живымъ. Путемъ *синтеза* можетъ быть воссоздано новое, столь-же сильное, и еще болѣе глубокое живое воспріятіе образа, но оно уже не будетъ *наивнымъ* и *непосредственнымъ*. Я хочу именно указать здѣсь на то, какъ анализъ расчищаетъ дорогу синтезу, какъ изъ отдѣльныхъ чертъ, полученныхъ въ результатѣ нашего анализа, можетъ воссоздаться живая личность Каратаева. Для этого одно механическое соединеніе извѣстныхъ намъ чертъ еще недостаточно. Нужно уловить то особенное соотношеніе и взаимодействіе этихъ чертъ, ту ихъ *организацию*, въ силу которыхъ Каратаевъ и является воплощеніемъ живой, цѣльной и своеобразной *психи*, а не просто суммой извѣстныхъ психологическихъ слагаемыхъ. Еще Шубинъ (въ «Наканунѣ») сказалъ: «душа—не яблоко: ее не разрѣжешь». Эта истина можетъ быть оставляема втунѣ—пока производится *анализъ*. Мы разлагаемъ мысленно душу на рядъ процессовъ, рядъ чертъ и свойствъ и стараемся выкинуть въ ихъ природу и происхожденіе. Но разъ отъ анализа мы переходимъ къ *синтезу*,—истина, изреченная Шубиннымъ, вступаетъ въ свои права.

Въ результатѣ нашего анализа мы получили: 1) черты народной, крестьянской психологии патріархальнаго склада, въ основѣ которой положены «мірская» общепитательность, наивный альтруизмъ, специфическое «благообразіе»; 2) національныя черты фатализма и оптимизма, въ корнѣ которыхъ мы указали своеобразный укладъ воли и особый родъ самочувствія личности; 3) національныя черты формальной *простоты и правды*—въ той ихъ постановкѣ и идеализаціи, о которыхъ была рѣчь

выше. Всѣ эти черты соединены въ Каратаевѣ не механически, а какъ бы органически и образуютъ цѣльную и живую психію, которую можно анализировать, но отъ которой нельзя отнять ни одной черты—безъ нарушения цѣлаго.

Въ нашей аналитической работѣ мы представляли себѣ всѣ эти черты какъ-бы на одной плоскости. Мы ихъ разложили по порядку и присматривались къ каждой изъ нихъ. Не такъ «лежать» онѣ въ душѣ Каратаева. Если ужъ прибѣгать къ пространственнымъ понятіямъ и метафорически переносить ихъ на психію, то мы скажемъ, что въ «разрѣзѣ» психіи эти черты представились-бы намъ на подобіе концентрическихъ круговъ или пластовъ, такъ что одинъ служитъ оболочкой для другого, другой—для третьяго и т. д., пока не дойдемъ до центральной точки, которая и есть индивидуальное положительное содержаніе личности, его подлинное «я»: для него всѣ эти оболочки служатъ формами (сословной, національной и т. д.). У Каратаева, какъ мы видѣли, центральный пунктъ такъ неявственъ, такъ глубоко погребенъ подъ толстыми наслоениями формъ, что можетъ считаться равнымъ нулю, и вся психіа Каратаева представляется составленной изъ однихъ формальныхъ элементовъ. Это упрощаетъ нашу задачу, которая была-бы гораздо труднѣе, если-бы дѣло шло о личности съ богатымъ и сложнымъ индивидуальнымъ содержаніемъ. Въ данномъ случаѣ, въ отношеніи Каратаева, мы оставляемъ индивидуальное содержаніе въ сторонѣ и сосредоточиваемся на формѣ. Задача упрощается—сводится къ тому, чтобы найти то специальное и ясное соотношеніе, въ какомъ находятся другъ къ другу формальныя черты психіи Каратаева, указать *способъ* ихъ сочетанія и взаимодействія. Для этого прежде всего станемъ въ положеніе непосредственнаго наблюдателя и постараемся уловить то общее и цѣльное *впечатлѣніе*, которое производитъ Каратаевъ, какъ онъ есть, со всѣми его чертами, еще не разложенными предварительнымъ анализомъ, еще не отторгнутыми одна отъ другой. Такое *впечатлѣніе* (Anschauung) будетъ *синтетическимъ*,— оно еще не тотъ *синтезъ*, котораго мы ищемъ, но уже первый шагъ къ нему.

Предположимъ, что, наблюдая Каратаева, мы видимъ его психію во всей совокупности слагающихъ ее элементовъ,— наше *впечатлѣніе*, Anschauung,— полное. По необходимости, все, что мы видимъ, представляется намъ въ извѣстной перспективѣ, а не на одной плоскости, какъ при анализѣ. Однѣ черты выступаютъ на первый планъ, другія отодвигаются дальше, въ глубь. Однѣ кажутся намъ болѣе, если можно такъ выразиться, *внѣшними*, другія—болѣе *внутренними*. И вотъ наблюдатель, созерцая эту психологическую перспективу, по необходимости дѣлаетъ рядъ своихъ *сужденій* о томъ, что онъ видитъ,— эти сужденія входятъ, какъ неотъемлемая часть, въ составъ искомаго общаго впе-

чатлѣнія. То, что представляется ему на первомъ планѣ, на периферіи психіи, онъ невольно принимаетъ за форму того, что лежитъ глубже. Последнее, въ его глазахъ, есть *содержаніе* перваго. При встрѣчѣ съ Каратаевымъ, наблюдатель прежде всего видитъ, что это мужичекъ, крестьянинъ, сразу замѣчаетъ, что это не типичный солдатъ, и тутъ-же открываетъ въ немъ характерныя черты патриархальнаго крестьянскаго «благообразія». Для наблюдателя все это и составляетъ психологическую форму Каратаева. Все, что онъ откроетъ глубже, подъ этой оболочкой, представится ему *содержаніемъ* формы, но такимъ, которое не вложено туда случайно, извнѣ, а *находится въ тѣснѣйшей, выражаясь фигурально, «кровной» связи съ формою*. Въ такомъ освѣщеніи предстанутъ ему фаталистическія и оптимистическія—не взгляды, не мысли, а «*проявленія*» Каратаева. Иной мужичекъ того-же типа и склада, пожалуй, и не *проявится* съ этой стороны,—подумаетъ наблюдатель,—но Каратаевъ, проявляется, и это его проявленіе, это обнаруженіе своеобразнаго оптимистическаго фатализма не механически связано съ его мужичьей формою, съ его крестьянскимъ благообразіемъ, а есть то зерно, оболочкой котораго служитъ этотъ крестьянскій складъ; при другомъ складѣ, и зерно, думается наблюдателю, было-бы другое. Наблюдатель не вдается въ анализъ, не прибѣгаетъ къ своего рода «реактивамъ», не вспомнить, имѣя дѣло съ Каратаевымъ, о Кутузовѣ, объ Обломовѣ. Всякаго рода сопоставленія, сравненія (кромѣ развѣ съ самимъ собою) только нарушатъ цѣльность впечатлѣнія и неизбежно перетасуютъ элементы: то, что наблюдатель принял за «зерно», окажется «оболочкой». Еще глубже оптимистическаго фатализма наблюдатель открываетъ «простоту и правду». И здѣсь, не смущаемый сравненіями и анализомъ, преслѣдуя одно лишь живое и цѣльное впечатлѣніе, онъ квалифицируетъ эту черту—какъ нѣчто положительное, а не исключительно формальное, но тѣсно связанное съ формою, что безъ нея оно, пожалуй, и не существовало-бы. Наблюдатель имѣетъ дѣло только съ Каратаевымъ и не знаетъ, что, напр., и въ Кутузовѣ есть аналогичная *простота и правда*, а если и знаетъ, то не пользуется этими свѣдѣніями для составленія своего *синтетическаго* сужденія о Каратаевѣ. Поэтому для наблюдателя Каратаевъ—не національный типъ, а народный. Все, что онъ видитъ въ Каратаевѣ, открывается ему сквозь призму крестьянскаго формы. Онъ подведетъ итогъ своимъ впечатлѣніямъ—опредѣливъ Каратаева, какъ *идеаль простоты и правды, воплощенный въ народно-крестьянской психологической формѣ*.

Таковъ синтетическій взглядъ на Каратаева наблюдателя, который не имѣетъ въ своемъ распоряженіи предварительнаго анализа. Но мы его имѣемъ, и синтезъ, котораго мы ищемъ, долженъ основываться на результатахъ анализа, не будучи механическимъ ихъ суммированіемъ.

Непосредственное, живое и цельное впечатление наблюдателя поможет намъ сдѣлать правильный синтезъ, не прибѣгая къ арметикѣ.

Анализъ обнаружилъ, что «простота и правда»—это черта національной психологической формы. Наблюдатель говоритъ намъ, что онъ видитъ эту «простоту и правду» въ глубинѣ, а не на периферіи. Будемъ и мы видѣть ее тамъ, но только зная, что она—форма, а не содержаніе и не составляетъ исключительной особенности Каратаева или его сословія, но принадлежитъ всей русской націи. Въ силу этого сознанія, добытаго анализомъ, *наше* синтетическое впечатлѣніе окажется качественно-отличнымъ отъ того, которое составилось у предполагаемаго наблюдателя, не опиравшагося на предварительный анализъ. Наблюдателю казалось, что между идеаломъ «простоты и правды», воплощеннымъ въ Каратаевѣ, и его крестьянскимъ «благообразіемъ» установлены столь тѣсныя связи психологическаго сродства, что одно безъ другого немислимо. Для насъ—это иллюзія; мы знаемъ, что тотъ-же идеаль можетъ быть воплощенъ и въ другой, не крестьянской формѣ. И мы видимъ въ Каратаевѣ уже не исключительно народный идеаль крестьянскаго благообразія, простоты и правды, *идеализированную русскую національную неиллюзію, взятую въ ея крестьянской разновидности*, въ ея непосредственномъ, нетронутомъ цивилизаціей и рефлексіей проявленіи. Одно сознаніе, что возможны и другія ея проявленія, въ корнѣ измѣняетъ характеръ синтетическаго впечатлѣнія. Фатализмъ и оптимизмъ Каратаева для насъ только народное выраженіе *національнаго уклада воли* и, созерцая Каратаева, мы сосредоточиваемъ наше вниманіе не столько на этомъ выраженіи, сколько на самомъ «укладѣ», и видимъ или вспоминаемъ многое, чего наблюдатель не видѣлъ и не вспоминалъ.

И по необходимости, наши *сужденія*, входящія въ составъ синтетическаго впечатлѣнія, будутъ иныя, чѣмъ у наблюдателя, при сохраненіи той же перспективы. Мы видимъ наблюдаемыя явленія въ томъ-же порядкѣ, но понимаемъ ихъ иначе. Это пониманіе и есть искомый *синтезъ*. Если онъ выйдетъ неправильнымъ или неполнымъ,—это будетъ прямымъ слѣдствіемъ неправильности или неполноты анализа.

Каковъ-бы онъ ни былъ, но онъ необходимъ. Только такимъ путемъ—преобразования непосредственнаго впечатлѣнія въ *синтетическое пониманіе* образа, опирающееся на анализъ, и возможно придти къ выясненію художественной идеи, воплощенной въ образѣ.

Дойти до указаннаго *синтетическаго пониманія*—дѣло не трудное, разъ сдѣланъ анализъ, эта труднѣйшая, «черновая» часть работы. Но для изложенія, для передачи процесса своей мысли другимъ, анализъ оказывается дѣломъ гораздо болѣе легкимъ, чѣмъ синтезъ. Какъ передать, какъ описать *свое* синтетическое, цельное, живое впечатлѣніе и пониманіе?

Быть можетъ, мнѣ удастся сдѣлать это въ слѣдующей главѣ, въ связи

съ раскрытіемъ *идеи*, воплощенной въ Каратаевѣ и Кутузовѣ, и того *значенія*, которое принадлежитъ специально образу Каратаева въ эпопеѣ «Войны и Мира».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Обращаясь къ анализу фигуры Кутузова, прежде всего возстановимъ въ памяти тѣ мѣста, гдѣ онъ выведенъ.

Впервые Кутузовъ появляется во II-й части I-го тома. Это—превосходная сцена изъ кампаніи 1805-го г. въ Австріи. Кутузовъ на смотру. Минюзя мастерски написанныя эпизодическія фигуры офицеровъ и солдатъ и детали полковой жизни, отмѣтимъ только то, что относится къ Кутузову. Здѣсь, какъ бы вскользь, указаны двѣ черты, которыя читатель, конечно, не пропуститъ. Капитанъ Тимохинъ, когда Кутузовъ подошелъ къ нему, «вытянулся такъ, что, казалось, посмотри на него главнокомандующій еще нѣсколько времени, онъ (Тимохинъ) не выдержалъ бы; и потому Кутузовъ, видимо понявъ его положеніе и желая, напротивъ, всякаго добра капитану, поспѣшно отвернулся. По пухлому, изуродованному раной лицу Кутузова пробѣжала чуть замѣтная улыбка».—Далѣе, когда Долоховъ, желая обратить на себя его вниманіе, сказалъ ему: «прошу дать мнѣ случай загладить мою вину и доказать мою преданность государю императору и Россіи»,—«Кутузовъ отвернулся. На лицѣ его промелькнула та же улыбка глазъ, какъ и въ то время, когда онъ отвернулся отъ капитана Тимохина. Онъ отвернулся и поморщился, какъ будто хотѣлъ выразить этимъ, что все, что ему сказалъ Долоховъ, и все, что онъ могъ сказать ему, онъ давно, давно знаетъ, что все это уже прискучило ему, и что все это совсѣмъ не то, что нужно».

Въ этихъ эпизодическихъ сценахъ Кутузовъ обрисовывается во-первыхъ, какъ простой и добрый человекъ, а во-вторыхъ, какъ историческій дѣятель, умудренный давнимъ опытомъ, знающій людей и жизнь, преслѣдующій только тѣ историческія задачи, которыя стоятъ передъ нимъ, и остающійся равнодушнымъ къ личнымъ мотивамъ, движущимъ людьми, къ страстямъ человѣческимъ и т. д. Эти двѣ черты повторяются и въ дальнѣйшемъ. Толстой не упускаетъ случая указать на нихъ въ разныхъ сценахъ, гдѣ выведенъ Кутузовъ, и, наконецъ, прямо отъ себя даетъ характеристику его въ этомъ смыслѣ. Одно изъ наиболѣе яркихъ мѣстъ этого рода—сцена изъ эпохи 1812 года, гдѣ Кутузовъ, уже назначенный главнокомандующимъ, выслушиваетъ очередные доклады и рѣшаетъ текущія дѣла. Между прочимъ, ему представляется здѣсь будущій знаменитый партизанъ Василій Денисовъ (Денисъ Давыдовъ), который, «назвавъ себя, объявилъ, что имѣетъ сообщить его свѣт-

лости дѣло большой важности для блага отечества. Кутузовъ усталымъ взглядомъ сталъ смотрѣть на Денисова... «Для блага отечества? Ну, что такое? Говори».—И разсѣянно и съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ слушая рѣчь Денисова, проэтамъ котораго онъ, очевидно, не придавалъ большого значенія, но считалъ не деликатнымъ—не выслушать, Кутузовъ «смотрѣлъ себѣ въ ноги и изрѣдка оглядывался на дверь сосѣдней избы, какъ будто онъ ждалъ чего-то неприятнаго оттуда». Неприятное явилось въ лицѣ дежурнаго генерала съ портфелемъ подъ мышкой. Генералъ пришелъ съ очередными дѣлами. Тѣмъ временемъ Денисовъ продолжаетъ излагать свой проектъ: «даю честное, благородное слово русскаго офицера»—горячится онъ—«что я разорву сообщенія Наполеона!»—«Тебѣ Кирилль Андреевичъ Денисовъ, оберъ-интендантъ, какъ придѣлается?»—перебиваетъ его Кутузовъ.—«Дядя родной, ваша свѣтлость».—О, пріятель были!—весело сказалъ Кутузовъ.—Хорошо, хорошо, голубчикъ, оставайся тутъ при штабѣ, завтра поговоримъ».—Тѣмъ и кончилось «обсужденіе» проекта, важнаго для блага отечества. И конечно, завтра «не поговорили». А между тѣмъ Денисовъ предлагалъ вовсе не какой-нибудь нелѣпый планъ. Вотъ какъ поясняетъ Толстой это благодушно-халатное отношеніе Кутузова къ текущимъ дѣламъ и разнымъ предлагавшимся ему планамъ и проектамъ: «Все, что говорилъ Денисовъ, было дѣльно и умно. То, что говорилъ дежурный генералъ, было еще дѣльнѣе и умнѣе, но очевидно было, что Кутузовъ презиралъ и знаніе и умъ, и зналъ что-то другое, что должно было рѣшить дѣло, что-то другое, независимое отъ ума и знанія... Очевидно было, что Кутузовъ презиралъ умъ и знаніе, которое выказывалъ Денисовъ, но презиралъ не умомъ, не знаніемъ (потому что онъ и не старался выказывать ихъ), а онъ презиралъ ихъ чѣмъ-то другимъ. Онъ презиралъ ихъ своею старостью, своею опытностью жизни». (Томъ III, часть II, глава XV).—Въ слѣдующей главѣ XVI-й эта коренная черта Кутузова, на которой можно сказать и построены весь образъ его, еще ярче выступаетъ—въ бесѣдѣ Кутузова съ княземъ Андреемъ. Кутузовъ излагаетъ свою систему веденія войны, извѣстную издревле подъ именемъ *кунктаторской*: выжидать, оттягивать, отступать, брать изморомъ. «Взять крѣпость»—говоритъ онъ—«не трудно, трудно кампанію выпграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно *терпѣніе* и *время*... Вѣрь, голубчикъ: нѣтъ сильнѣе тѣхъ двухъ словъ, *терпѣніе* и *время*; тѣ все сдѣлаютъ, да совѣтчики этимъ ухомъ не слышать, вотъ что плохо! Одни хотятъ, другіе не хотятъ. Что-жъ дѣлать?»—спросилъ онъ, видимо ожидая отвѣта.—«Да, что ты велишь дѣлать?»—повторилъ онъ, и глаза его блестя глубокоимъ, умнымъ выраженіемъ. Я тебѣ скажу, что дѣлать, и что я дѣлаю. Въ нерѣшительности, мой милый»,—онъ помолчалъ,—«воздерживайся»,—выговорилъ

онъ съ разстановкой эту французскую пословицу».—И вотъ какое впечатлѣніе вынесъ умный и серьезный князь Андрей изъ этой бесѣды,—вотъ какую оцѣнку Кутузова даетъ онъ: «у него не будетъ ничего своего. Онъ ничего не придумаетъ, ничего не предприметъ,—но онъ все выслушаетъ, все запомнитъ, все поставитъ на свое мѣсто, ничему полезному не помѣшаетъ и ничего вреднаго не позволитъ. Онъ понимаетъ, что есть что-то сильнѣе и значительнѣе его воли,—это неизбежный ходъ событій,—и онъ умѣетъ видѣть ихъ, умѣетъ понимать ихъ значеніе, и въ виду этого значенія умѣетъ отречься отъ участія въ этихъ событіяхъ, отъ своей личной воли, направленной на другое...»

Здѣсь передъ нами рисуется идеаль историческаго дѣятеля, подобнаго тому мудрому врачу, который безъ толку не пичкаетъ больного лѣкарствами и не дѣлаетъ ему ненужныхъ операцій, а только слѣдитъ за естественнымъ теченіемъ болѣзни, устраняя вредное и не мѣшая полезному,—вообще ограничивая свою дѣятельность врача посильнымъ содѣйствіемъ природной сопротивляемости организма, такъ называемой *vis medicatrix naturae*. Таково, какъ извѣстно, отношеніе Л. Н. Толстого къ медицинѣ,—таково же его воззрѣніе на роль историческихъ дѣятелей. Его же приписываетъ онъ и Кутузову. Вотъ именно въ этомъ-то воззрѣніи и нельзя не видѣть метаморфозу той національной черты, которую въ предыдущей главѣ мы отмѣтили въ Каратаевѣ, назвавъ ее «фаталистическимъ укладомъ воли», основаннымъ на преобладаніи пассивности надъ активностью, на слабомъ развитіи духа инициативы.

Въ Кутузовѣ, какъ онъ изображенъ Толстымъ, мы видимъ наглядный примѣръ того, какъ извѣстныя національныя черты, сами по себѣ, при нормальной постановкѣ, при отсутствіи патологическаго развитія, ни хорошия, ни дурныя и образующія только форму, въ которую можетъ быть вложено что угодно,—превращаются въ личныя качества человѣка, подлежащія уже (съ той или другой точки зрѣнія, напр. съ точки зрѣнія интересовъ того дѣла, которому служить данный человѣкъ) извѣстной квалификаціи,—какъ полезныя или вредныя, какъ хорошия или дурныя. У Кутузова, въ силу долгаго опыта жизни и войны, можетъ быть также подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ личныхъ особенностей характера или ума, національная волевая форма, которую онъ раздѣляетъ съ Каратаевымъ, превратилась въ положительное воззрѣніе на вещи, въ военную теорію, въ программу дѣятельности. И это воззрѣніе, эта теорія, и программа уже подлежатъ критической оцѣнкѣ, а ихъ представитель—тому, что можно назвать «исторической отвѣтственностью». Толстой совершенно правъ, когда говоритъ о воззрѣніяхъ и руководящей идеѣ Кутузова, какъ о продуктѣ его «старости», его 60-лѣтней опытности, стало быть какъ о чемъ-то, ему лично принадлежащемъ. Но онъ правъ и въ томъ, что связываетъ эти воззрѣнія и эту руководящую идею съ

русскимъ національнымъ духомъ и складомъ и не упускаетъ случая лишній разъ отмѣтить, что Кутузовъ—типичный русскій человѣкъ ¹⁾, съ тою формальной «простотой и правдою», о которыхъ мы говорили выше, анализируя Каратаева.—Толстой правъ и въ томъ, и въ другомъ случаѣ потому именно, что въ самомъ дѣлѣ отличительная черта историческихъ лицъ, имѣющихъ національное значеніе, и состоитъ въ такомъ совмѣщеніи *личнаго съ національнымъ*,—въ превращеніи у нихъ формальныхъ элементовъ национальной психики въ положительное содержаніе ихъ духа,—въ систему движущихъ ими идей и чувствъ, въ рядъ сознательныхъ волевыхъ актовъ.

Въ XXXV-ой главѣ II-й части III-го тома (Бородинское сраженіе) Кутузовъ представленъ «не дѣлающимъ никакихъ распоряженій, а только соглашающимся или несоглашающимся на то, что предлагали ему». — «Да, да, сдѣлайте это»,—«да, да, съѣзди, голубчикъ, посмотри!»—«Нѣтъ, не надо, лучше подождемъ»,—таковы его «распоряженія». Онъ опять въ роли врача у постели больного. И вотъ какъ поясняетъ здѣсь эту роль Толстой: «Долголѣтнимъ военнымъ опытомъ онъ зналъ и старческимъ умомъ понималъ, что руководить сотнями тысячъ человѣкъ, борющихся со смертію, нельзя одному человѣку, и зналъ, что рѣшаютъ участь сраженія не распоряженія главнокомандующаго, не мѣсто, на которомъ стоятъ войска, не количество пушекъ и убитыхъ людей, а та неуловимая сила, называемая духомъ войска, и онъ слѣдилъ за этою силою и руководилъ ею, насколько это было въ его власти». Описанныя въ той же главѣ дѣйствія Кутузова наглядно иллюстрируютъ эту мысль.

Въ III-ей части того-же III-го тома, въ главѣ III-ей, важно изображеніе душевнаго состоянія Кутузова передъ рѣшеніемъ—отступить и оставить Москву неприятелю. Какъ ни былъ неизбеженъ этотъ шагъ.—Кутузовъ не могъ не чувствовать сомнѣній и тяжелаго гнета ответственности за послѣдствія. «Неужели это я допустилъ до Москвы Наполеона и когда же это я сдѣлалъ?»—думалъ онъ. Тѣмъ не менѣе, силою вещей, пришлось отдать приказъ къ отступленію и оставить Москву Наполеону. «Отдать это страшное приказанье казалось ему одно и то-же, что отказать отъ командованія арміею. А мало того, что онъ любилъ власть, привыкъ къ ней..., онъ былъ убѣжденъ, что ему было предназначено спасеніе Россіи, и потому только, противъ воли государя и по волѣ народа, онъ былъ избранъ главнокомандующимъ. Онъ былъ убѣжденъ, что онъ одинъ въ этихъ трудныхъ условіяхъ могъ держаться въ главѣ арміи, что онъ одинъ во всемъ мірѣ былъ въ состояніи безъ ужаса знать своимъ противникомъ непобѣдимаго Наполеона, и онъ ужасался мысли

¹⁾ Напр. въ концѣ той-же XIV-й главы, изъ которой я привелъ послѣднія выдержки. «А главное—думалъ князь Андрей—почему вѣрнись ему, это то, что онъ русскій, несмотря на романъ Жанлисъ и французскія поговорки...»

о томъ приказаніи, которое онъ долженъ былъ отдать».—Слѣдуетъ, въ гл. IV-ой, знаменитое описаніе военнаго совѣта въ Филяхъ. Это точно консилиумъ врачей у постели опасно-больного. Не всѣ врачи мудры. Есть между ними просто выскочки и интриганы. Есть тутъ язвѣнные самолюбія и разгоряченныя честолюбія. Есть и фальшивый патриотизмъ Беннгсена, и громкія фразы его-же о «священной и древней столицѣ Россіи», которую преступно было бы отдать безъ боя. Но мудрый престарѣлый врачъ уже покончилъ со своими сомнѣніями и колебаніями. Онъ видитъ вещи въ ихъ настоящемъ свѣтѣ, и національное чувство, живое въ немъ, подсказываетъ ему простое и вѣрное рѣшеніе вопроса. Онъ приказываетъ отступленіе.

Превосходно выписывается натура Кутузова, какъ она задумана Толстымъ, въ главѣ XVII-ой II-ой части IV-го тома. Здѣсь воспроизведенъ тотъ историческій моментъ, когда Кутузову впервые принесли вѣсть о бѣгствѣ Наполеона изъ Москвы. Эта вѣсть положила конецъ мучительнымъ сомнѣніямъ и тревожнымъ думамъ главнокомандующаго. Отступленіе французовъ, предвозвѣщавшее гибель великой арміи и освобожденіе Россіи, и было тѣмъ радостнымъ событіемъ, которое Кутузовъ предвидѣлъ, но скорому осуществленію котораго онъ не смѣлъ вѣрить. Въ ту ночь, когда ему доложили объ этомъ событіи, онъ не спалъ и все думалъ о положеніи вещей. «Терпѣніе и время—вотъ мои войны-богатыри!—думалъ онъ. Онъ зналъ, что не надо срывать яблоко, пока оно зелено.... Онъ, какъ опытный охотникъ, зналъ, что звѣрь раненъ (Бородинское сраженіе).... но смертельно или нѣтъ,—это былъ еще неразъясненный вопросъ».—Вотъ именно объ этомъ-то неразъясненномъ вопросѣ и размышлялъ Кутузовъ, придумывая возможныя комбинаціи и крайности. «Вопросъ этотъ занималъ всѣ его душевныя силы. Все остальное было для него только привычнымъ исполненіемъ жизни. Такимъ привычнымъ исполненіемъ и подчиненіемъ жизни были его разговоры со штабными, письма къ m-me Stahl, которыя онъ писалъ изъ Тарутина, чтеніе романовъ, раздача наградъ, переписка съ Петербургомъ и т. д. Но гибель французовъ, предвидѣнная имъ однимъ, было его душевное, единственное желаніе». И вотъ, въ ночь 11-го октября, когда онъ былъ погруженъ въ эти думы, въ главный штабъ прискакалъ Болховитиновъ съ извѣстіемъ объ оставленіи Москвы французами. Когда Толь, приведшій къ нему вѣстника, сообщилъ вкратцѣ сущность извѣстія,—Кутузовъ спросилъ: «кто привезъ?»—и лицо старика «поразило Толя своею холодною суровостью». Ввели Болховитинова.—«Скажи, скажи, дружокъ,—сказалъ онъ Болховитинову своимъ тихимъ, старческимъ голосомъ...—Подойди, подойди, поближе. Какія ты привезъ мнѣ вѣсточки, а? Наполеонъ изъ Москвы ушелъ? Воистину такъ, а? Говори, говоря скорѣе, не томи душу»,—торопилъ онъ его. «Болховитиновъ рассказалъ все и

замолчалъ, ожидая приказанія. Толь началъ было говорить что-то, но Кутузовъ перебилъ его. Онъ хотѣлъ сказать что-то, но вдругъ лицо его сощурилось, сморщилось; онъ, махнувъ рукой на Толя, повернулся въ противную сторону, къ красному углу избы, червившему отъ образовъ.— Господи, Создатель мой! Вяжъ Ты молитвѣ нашей... дрожащимъ голо- сомъ сказалъ онъ, сложивъ руки.— Спасена Россія. Благодарю Тебя, Господи!—И онъ заплакалъ».

Толстой въ «Войнѣ и Мирѣ» не только рисуетъ, но и комментируетъ то, что рисуетъ. Эти коментаріи даны, во-первыхъ, въ формѣ несравненнаго психологическаго анализа, который съ такимъ мастерствомъ вплетенъ въ самый рисунокъ, и, во-вторыхъ, въ формѣ извѣстныхъ разсужденій о событіяхъ, объ историческихъ дѣятеляхъ,—разсужденій, прерывающихся нитью фавулы и вызывающихъ нерѣдко со стороны критики неодобрительные, но, мнѣ кажется, не совсѣмъ или не всегда справедливые отзывы. Къ числу такихъ отступленій принадлежитъ глава V-ая IV-ой части IV-го тома, гдѣ дана оцѣнка Кутузова, какъ историческаго дѣятеля. Здѣсь Толстой противопоставляетъ Кутузова Наполеону, котораго онъ называетъ «ничтожнѣйшимъ орудіемъ исторіи» и человѣкомъ, который «никогда, даже въ изгнаніи, не выказывалъ человѣческаго достоинства». Онъ упрекаетъ русскихъ историковъ въ томъ, что они преклонялись передъ этимъ лживымъ героемъ, назвали его великимъ человѣкомъ, между тѣмъ какъ Кутузовъ въ ихъ глазахъ «представляется чѣмъ-то неопредѣленнымъ и жалкимъ, и, говоря о Кутузовѣ и 12-мъ годѣ, имъ всегда какъ-будто немножко стыдно».

Если-бы я былъ историкомъ, я бы имѣлъ возможность критически отнестись къ этой рѣзкой оцѣнкѣ Наполеона и либо отвергнуть ее, либо принять. Но я не историкъ и, воздерживаясь отъ критики, охотно приѣмлю общій приговоръ, что Наполеонъ—въ своемъ родѣ великій человекъ. Не нужно, однакоже, быть историкомъ, чтобы знать, что прежде всего это былъ великій надуватель. Онъ умѣлъ обманывать цѣлые народы, цѣлыя поколѣнія и, что можетъ быть еще печальнѣе,—такіе умы, такихъ друзей челоѣчества, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Гейне. Честь и слава Толстому, что онъ не поддался этой иллюзіи. Съ другой стороны, также нѣтъ надобности быть историкомъ, чтобы имѣть право признать сужденія Толстого о Кутузовѣ въ общемъ согласными съ исторической истиной, хотя бы въ нихъ и была доля преувеличенія. Простое чутье правды и здравый смыслъ, незатуманенный блескомъ легенды, невольно заставляютъ раздѣлять оцѣнку Кутузова, данную въ слѣдующихъ словахъ: «Кутузовъ никогда не говорилъ о 40 вѣкахъ, которые смотрять съ пирамидъ, о жертвахъ, которыя онъ приносить отечеству, о томъ, что онъ намѣренъ совершить или совершилъ: онъ вообще ничего не говорилъ о себѣ, не игралъ никакой роли, казался всегда самымъ

простымъ и обыкновеннымъ челоѣкомъ и говорилъ самыя простыя и обыкновенныя вещи....».—Но этотъ простой челоѣкъ глубоко и вѣрно понималъ ходъ вещей,—въ самомъ разгарѣ событій давалъ имъ правильную оцѣнку, подтвержденную лишь впоследствии, *post factum*. Изъ вышеприведенной сцены, гдѣ показано, какъ принялъ Кутузовъ извѣстіе о выступленіи Наполеона изъ Москвы, ясно видно, что Кутузовъ сразу же вѣрно оцѣнилъ значеніе этого событія. Онъ появля, что это уже было *битство* непріятеля, что съ этого момента Россія можетъ считаться спасенной. Оттуда та радость и то умиленіе, съ которыми онъ принялъ это извѣстіе.—Столь-же правильно оцѣнилъ онъ значеніе Бородинскаго сраженія. «Онъ одинъ говорилъ, что Бородинское сраженіе есть побѣда... Онъ одинъ сказалъ, что потеря Москвы не есть потеря Россіи.. Въ отвѣтъ Лористону на предложенія о мирѣ, онъ отвѣчалъ, что мира не можетъ быть, потому что такова воля народа...»—Подводя итогъ этой оцѣнкѣ Кутузова, Толстой ставитъ вопросъ: «Какимъ образомъ этотъ старый челоѣкъ, одинъ въ противность мнѣнію всѣхъ, могъ угадать такъ вѣрно значеніе народнаго смысла событія, что ни разу во всю свою дѣятельность не измѣнилъ ему?»—На этотъ вопросъ Толстой отвѣчаетъ такъ: «Источникъ этой необычайной силы прозрѣнія въ смыслъ совершающагося явленія лежалъ въ томъ народномъ чувствѣ, которое онъ носилъ въ себѣ во всей чистотѣ и силѣ его. Только признаніе въ немъ этого чувства заставило народъ такими странными путями, въ немилости находящагося старика выбрать, противъ воли царя, въ представители народной войны... Простая скромная и потому истинно-величественная фигура эта не могла улечься въ ту лживую форму европейскаго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія».

Таковъ художественный образъ Кутузова, созданный Толстымъ. Онъ пѣликомъ построенъ: 1) на идеализаціи національной формы и 2) на перенесеніи ея чертъ въ область психологическаго содержанія, на превращеніи ихъ въ идею, въ программу дѣятельности, въ личныя положительныя качества челоѣка.

Для надлежащей оцѣнки этихъ приемовъ, для отвѣта на вопросъ: не было-ли тутъ доли художческаго произвола?—необходимо обратить вниманіе на соотвѣтствующія этимъ приемамъ черты самой дѣйствительности. Въ исторической жизни народовъ нерѣдко наблюдается и идеализація національной формы, осуществляемая самой жизнью, и претвореніе ея элементовъ въ нѣкоторый положительный идеаль.

Національная личность челоѣка (какъ и всѣ формально-психологическіе элементы) ярко выступаетъ въ сознаніи большею частью только тогда, когда ей угрожаетъ какая-нибудь внѣшняя опасность, когда какая-нибудь внѣшняя сила стремится ее стѣснить или ограничить. Такъ, когда

воздвигается гонение на языкъ, эту главную опору національности. послѣдняя сейчасъ-же настораживается, становится крайне щепетильной, обидчивой и естественно переходитъ въ крайность самовозвеличенія, культа себя самой. Она занимаетъ тогда слишкомъ много мѣста въ сознаниіи людей. Изъ формы, чѣмъ ей и быть надлежитъ, она переходитъ въ содержаніе, становясь чѣмъ-то въ родѣ положительнаго идеала. Это—ненормально. но извинительно. Это—процессъ патологическій, не подлежащій осужденію.

Къ счастью, далеко не въ столь утрированномъ видѣ наблюдается пробужденіе національной формы въ сознаниіи при другого рода обстоятельствахъ, благоприятствующихъ тому, напр. во время войнъ, въ особенности народныхъ,—если только непріятельское нашествіе не направлено на самую національность. Наполеонъ не угрожалъ стѣсненіемъ русской національности и запрещеніемъ русскаго языка. Онъ затрогивалъ національность, хотя и чувствительно, но не прямо, а косвенно, угрожая тому, что составляло въ данное время часть *содержанія*, вложеннаго исторіей въ русскую національную форму: онъ напалъ на русское государство. Еще чувствительнѣе для національной формы было-бы нашествіе, если-бы завоеватель покусился и на остальное содержаніе, на религію, нравы, обычаи и т. д. Но и нападеніе на государство было достаточно, чтобы черезъ посредство части содержанія возбужденіе отразилось и на формѣ: національное чувство встрепенулось, и черты національной формы живо заговорили въ сознаниіи, переходя въ сферу положительнаго содержанія духа.

Тогда наша *формальная простота и правда* приняла обличье настоящей, подлинной душевной простоты и внутренней духовной правды, а нашъ «волевой фатализмъ» преобразился въ родъ національнаго лозунга, или какъ-бы въ программу національной дѣятельности.

Историческое лицо, въ которомъ эта русская форма была выражена наиболѣе ярко и у котораго ея переходъ въ сферу содержанія обосновывался также на индивидуальныхъ качествахъ и условіяхъ его личнаго опыта жизни,—силою вещей, стало «народнымъ избранникомъ» и вѣдемъ. Это и былъ Кутузовъ, національное историческое призваніе котораго было какъ-бы инстинктивно понято всѣми. У такихъ, какъ князь Андрей, это инстинктивное пониманіе превратилось въ сознательную оцѣнку.

Этотъ массовой психологическій процессъ, выдвигающій «народнаго избранника» (у насъ—Кутузова, во Франціи—Наполеона, въ Италіи—Гарибальди и т. д.), во многомъ напоминаетъ процессъ художественнаго творчества. Художникомъ является тутъ сама жизнь: она создаетъ и выдвигаетъ *типичную индивидуальность*, которую она въ большей или меньшей мѣрѣ *идеализируетъ*, да еще дѣлаетъ представительницею

извѣстной идеи. Иначе говоря, историческое лицо этого рода есть *художественный образъ въ натурѣ*, чѣмъ, между прочимъ, въ значительной мѣрѣ объясняется обаяніе, имъ производимое¹⁾.

Толстой совершенно правильно понялъ Кутузова, какъ такое художественное созданіе самой жизни, и построилъ *своего* Кутузова по образу и подобию этого *подлинника*.

Подлинникъ могъ имѣть, конечно, разныя несовершенства, разныя черты, неподходящія къ цѣлямъ законченной художественности. Ему, какъ всему живому, были присущи внутреннія противорѣчія. Разобрать все это и дать точную оцѣнку и критику личности—это дѣло историка. Но художникъ имѣетъ свои права. Онъ проводитъ дальше и послѣдовательнѣе дѣло, начатое самой жизнью, и всегда проводимое ею криво, съ уклоненіями въ сторону. Жизнь, по существу процессъ ирраціональный, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, надѣляетъ свои типичныя индивидуальности доброй долей ирраціональныхъ признаковъ,—лишь рѣдко-рѣдко удается ей создать такую строго-послѣдовательную, *aus einem Guss*, истинно-художественную фигуру, какъ напр. Петръ Великій или Гарибальди. Дорисовывая, исправляя образъ, данный жизнью, художникъ доводитъ его до той законченности и идеализаціи, при которыхъ онъ становится *рациональнымъ* созданіемъ искусства.

Кутузовъ Толстого относится къ подлинному, какъ рациональное созданіе искусства къ ирраціональному продукту жизни.

Въ художественномъ образѣ Кутузова Толстой воспроизвелъ нашу національную форму, понятую не только какъ чистая форма, но и какъ часть содержанія, духа,—въ томъ ея проявленіи, которое принято называть *национальнымъ гениемъ*.

Если совокупность процессовъ, образующихъ національную личность, въ ихъ будничной, чисто-формальной постановкѣ, въ ихъ какъ-бы дремлющемъ состояніи, можетъ быть уподоблена *связанной энергіи*, то въ ихъ пробужденномъ и дѣйствующемъ проявленіи она уподобляется *энергіи свободной*; она становится *силою, которая* при благоприятныхъ условіяхъ можетъ стать *творческою*, если не въ сферѣ жизни, то, по крайней мѣрѣ, въ области мысли, при неблагоприятныхъ же, такъ сказать, *разсѣивается* въ пространство. Изучая нашу національную *«энергію»*, какъ «освобожденную» она въ эпоху отечественной войны, Толстой не могъ ограни-

¹⁾ Если вникнемъ въ составъ этого обаянія и устранимъ такіе его элементы, какъ напр. патриотическое чувство, преданность дѣлу, во главѣ котораго стоитъ данное историческое лицо, увлеченіе представляемою имъ идеею или его подвигами, взумленіе передъ его гениемъ или силою характера, передъ его нравственными качествами и т. д., то получится еще остатокъ, который и есть *эстетическое чувство*: оно можетъ быть даже тогда, когда дѣятель намъ въ общемъ не симпатиченъ, когда онъ—не нашъ «герой».

читься воспроизведеніемъ нашего національнаго пошиба въ лицѣ Кутузова и указаніями на пробужденіе народнаго чувства въ обществѣ. Толстой—художникъ, идущій въ глубь вещей. И въ данномъ случаѣ онъ счелъ необходимымъ добраться до глубочайшихъ, искони отложившихся залежей той національной формации, пробужденіе которой онъ наблюдалъ теперь. Ему нужна была чистая, безпримѣсная стихія русскаго національнаго гения. Для нея онъ не имѣлъ въ своемъ распоряженіи никакого «подлинника», никакого образца. Въ его распоряженіи была только гениальная интуиція, и съ ея помощью онъ и нашелъ то, чего искалъ: онъ *открылъ* Каратаева.

Это смѣлое художественное предпріятіе было сопряжено съ большими трудностями и соблазнами: такъ легко было впасть въ искусственность, создать не живую личность, а мертвую схему, образъ сочиненный. Чуть-емъ великаго художника Толстой понялъ, что въ данномъ случаѣ нужно остерегаться опаснаго слова «смирненіе», что всякая попытка изобразить Каратаева, какъ сознательнаго, хотя бы и наивнаго, выразителя какого-то русскаго народнаго идеала, привела бы къ фіаско. Каратаевъ не проповѣдникъ, не сознательная личность, а только яркое воплощеніе формальныхъ признаковъ русской національности, въ извѣстной мѣрѣ идеализированныхъ и взятыхъ въ ихъ народно-крестьянскомъ и архаическомъ проявленіи.

Эти соображенія послужатъ намъ исходною точкою того синтетическаго взгляда на Каратаева, о которомъ я говорилъ въ концѣ предыдущей главы, какъ о необходимомъ завершеніи анализа. Отправляясь отсюда, мы прежде всего встрѣчаемъ Пьера Безухова, который укажетъ намъ дальнѣйшій путь.

Мягущаяся и растерянная душа Пьера, прошедшая черезъ всѣ разочарованія бесплодныхъ исканій, столкнулась съ другой душою, которая никогда и ничего не искала и никакимъ смятеніемъ и разочарованіемъ, по самой природѣ своей, недоступна, потому что у нея нѣтъ *личной* жизни. Для психологической и художественной законченности обихъ образовъ безусловно необходимъ этотъ полный контрастъ между богатой сложной *личной* жизнью одного и *безличностью* (т. е. отсутствіемъ индивидуальнаго содержанія) другого. Чтобы «разрушенный внутренній міръ Пьера» могъ начать вновь созидаться «на какихъ-то незблемыхъ устояхъ» отъ соприкосновенія съ другой душою (т. IV, ч. I, гл. XII),—эта другая душа должна была представлять собою внутренній міръ, который всегда прочно стоялъ на своихъ устояхъ, или, лучше сказать, она должна была представлять собою не самый этотъ «міръ», который и безъ того имѣется у Пьера, а только одни «незблемые устои», которыхъ у Пьера нѣтъ. Ихъ нѣтъ у Пьера, потому что онъ—именно «Пьеръ», а не Петръ Кириллычъ, что онъ—продуктъ искусственнаго, раздражательнаго просвѣ-

щенія прошлаго и начала нынѣшняго вѣка, оторванъ отъ народа, воспитанъ за границей, даже несомнѣнно чисто говорить по русски. Онъ—продуктъ и жертва той *денационализации*, въ силу которой лучшие плоды общечеловѣческаго просвѣщенія остаются безъ приуроченія къ національнымъ формамъ мысли: въ результатъ получается психологическая уродливость—личность безъ національности, содержаніе безъ формы. Чтобы найти потерянную форму и вмѣстѣ съ нею недостающіе ему «незыблемые устои», Пьеръ долженъ былъ приобщиться къ чему-то такому, въ чемъ былъ-бы воплощенъ «духъ» всего народа, какъ націи, а не отдѣльной ея части. Исторія встрѣчи Пьера съ Каратаевымъ есть исторія встрѣчи съ народомъ нашей оторванной отъ народно-національной формы интеллигенціи.

Совершенно очевидно, что для «обращенія» и возрожденія Пьера національный «духъ» долженъ былъ открыться ему въ своемъ *народномъ* выраженіи, а не въ томъ, напр., которое дано въ Кутузовѣ. «Кутузова» достаточно, чтобы успокоить князя Андрея, чтобы развеять его сомнѣнія и пробудить въ немъ нѣчто въ родѣ національнаго самосознанія,—для обращенія Пьера необходимъ *цѣлый Каратаевъ*, яркое воплощеніе національнаго духа въ его народномъ проявленіи и какъ-бы въ сконцентрированномъ видѣ.

Въ поискахъ этой сконцентрированной національной формы Толстой счастливо миновалъ Сциллу славянофильства и Харибду народничества и уберегся отъ своего рода чаръ Спрены,—отъ призывовъ субъективнаго творчества и личнаго опыта, которые побуждали построить Пьера по образцу Оленина, а Каратаева превратить въ разновидность дяди Ершкіи. И по мѣрѣ того, какъ изъ группируемыхъ здѣсь чертъ у меня складывается *синтетическое представленіе* Каратаева,—я не нахожу въ этомъ представленіи ни «русской подоплеки», ни элемента сектантскихъ исканій или «дохожденія собственнымъ умомъ». Но за то отчетливо и властно выступаетъ въ образѣ, у меня слагающемся, одна черта, которую я намѣренно приберегу къ концу этого очерка. Эта черта является тѣмъ цементомъ, который сплачиваетъ всѣ элементы психики Каратаева въ одно компактное цѣлое, въ одинъ живой и яркій образъ. Если ужъ нужно какъ-нибудь опредѣлить ее, то я бы ее назвалъ *минимистическою*. Это именно—*языкъ* и *мысль* Каратаева.

Толстой недаромъ обращаетъ особое вниманіе на эту сторону. Онъ говоритъ, между прочимъ, что у Каратаева «слова какъ будто всегда были готовы во рту и нечаянно вылетали изъ него» (IV т., ч. I, гл. XII). Эта *легкость* рѣчи, эта, если можно такъ выразиться, *юркость* слова, всегда бодрствующаго и словно ждущаго сигнала мысли, чтобы вылетѣть изо рта, есть одна изъ самыхъ важныхъ, самыхъ характерныхъ чертъ, которыми отмѣчена представляемая Каратаевымъ ступень

развитія языка и мысли. Это, можно сказать, почти та же ступень, на которой стоятъ гомеровскіе герои, представляющіе себѣ *слова* «крылатыми» и вылетающими изъ-за «ограды (или преграды) зубовъ». Слово всегда тутъ къ услугамъ мысли, потому что разстояніе между ними сравнительно не велико: мысль, еще не изощренная въ отвлеченіяхъ, не высоко еще поднялась надъ языкомъ, т. е. надъ тѣми процессами мысли, которые заключены въ самихъ категоріяхъ рѣчи, въ грамматическихъ формахъ. Эти формы еще составляютъ часть положительнаго содержанія мысли. Человѣкъ этой ступени не можетъ мыслить, не держа въ сознаніи, хотя бы въ извѣстной мѣрѣ, формальныхъ значеній словъ; послѣднія необходимы ему, чтобы привести въ движеніе его мысль, низко парящую надъ міромъ конкретнаго и не способную витать въ сферѣ отвлеченій, гдѣ *сознаваемая* грамматическія формы являются только лишнею обузою, балластомъ мысли. Для отвлеченнаго мышленія слово—только знакъ, символъ. Для мышленія гомеровскихъ героев и Каратаева оно—часть содержанія мысли. На этой ступени развитія еще нѣтъ отчетливаго сознанія раздѣльности между содержаніемъ, смысломъ рѣчи и самою рѣчью, какъ орудіемъ созданія этого смысла, и потому сама рѣчь не поддается выдѣленію и анализу. Человѣкъ этого фазиса не можетъ анализировать процессъ своей мысли и разложить его сперва на содержаніе и на форму, а потомъ эту форму на отдѣльные акты рѣчи, на категоріи языка, на слова. Онъ даже не всегда ясно различаетъ, гдѣ въ фразѣ, которую онъ сказалъ или подумалъ, кончается одно слово и начинается другое. «Онъ не понималъ—говоритъ Толстой о Каратаевѣ—и не могъ понять значенія словъ, отдѣльно взятыхъ изъ рѣчи...» Компактной, еще не расчлененной массой движется рѣчь, живьемъ сростаясь со своимъ непосредственнымъ содержаніемъ и съ тѣми продуктами первоначальнаго творчества, которые называются пословицей, сказкой, пѣснью, примѣтой. Человѣкъ самъ не замѣчаетъ, какъ онъ отъ обыкновенной рѣчи переходитъ къ этому творчеству. Какъ тамъ, такъ и тутъ отличительная черта, которою отмѣченъ процессъ мысли, это—непосредственность, наивность, отсутствіе рефлексіи. Каратаевъ «пѣлъ пѣсни не такъ, какъ поютъ пѣсни пѣсельники, знающе, что ихъ слушаютъ, но пѣлъ, какъ поютъ птицы, очевидно потому, что звуки эти ему было такъ-же необходимо издавать, какъ необходимо бываетъ потянуться или расходиться» (т. IV, ч. I, гл. XIII).

Такой укладъ языка, мысли и творчества сопряженъ съ особымъ *самочувствіемъ* человѣка: ему представляется, что эти процессы какъ будто сами собою въ немъ совершаются, безъ его личной инициативы, независимо отъ его воли. Это словно общая, національная умственная атмосфера, которою онъ дышитъ произвольно и вмѣстѣ съ другими. Онъ чувствуетъ себя частицею этой стихіи, которую понять и осмыслить

онъ, конечно, не въ состояніи. Онъ только ощущаетъ въ себѣ проявленіе общаго, коллективнаго ума—въ рѣчи, въ мысли, въ пѣснѣ, въ поговоркѣ, наконецъ, въ средѣ волевой, въ дѣйствіяхъ, стремленіяхъ, образѣ жизни. Общая рѣчь и мысль, общее творчество, общая жизнь, проявляясь въ немъ, становятся *его* личнымъ достояніемъ, но такимъ, на которое онъ самъ не можетъ смотрѣть, какъ на свое добро, въ родѣ того, какъ напр. воздухъ, которымъ дышитъ человѣкъ, есть его достояніе, но не его добро. Вотъ именно такой укладъ духа и связанный съ нимъ родъ самочувствія превосходно характеризуется слѣдующими словами Толстого о Каратаевѣ: «Каждое слово его и каждое дѣйствіе было проявленіемъ неизвѣстной ему дѣятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее ¹⁾, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ». (Т. I, ч. I, гл. XIII).

Вотъ именно эта сторона Каратаева, т. е. Каратаевъ въ его языкѣ, мысли, умственномъ проявленіи и соответственномъ самочувствіи, и является для меня тою закваскою, силою которой всѣ прочія черты его, разсмотрѣнныя въ предыдущей главѣ и въ этой, слагаются въ одинъ цѣльный синтетическій образъ.

Есть три способа—*видѣть* художественный образъ. Во-первыхъ можно видѣть его непосредственно, какъ онъ данъ въ произведеніи художника, получить отъ него извѣстное впечатлѣніе. Это то, что можно назвать *импрессионизмомъ* въ эстетическомъ воспріятіи. Во-вторыхъ, можно видѣть, какъ и на какіе элементы образъ разлагается. Это аналитическое воспріятіе, въ извѣстной мѣрѣ, по необходимости, нарушающее живость непосредственнаго воспріятія и парализующее силу того, что называется «эстетическимъ наслажденіемъ» или «художественной эмоціей». Наконецъ, въ-третьихъ, можно *видѣть, какъ и изъ чего образъ слагается*. Это—синтетическое воспріятіе, основанное на предварительномъ аналитическомъ. Оно вновь восстанавливаетъ цѣльность впечатлѣнія и оживляетъ эмоцію—въ новомъ видѣ, въ формѣ пониманія смысла и значенія образа и оцѣнки силы художественной мысли, его создавшей.

Съ необыкновеннымъ мастерствомъ Толстой группируетъ ряды чертъ, сливающихся въ цѣльный, живой образъ. Для критика или, лучше сказать, истолкователя образа каждый рядъ этихъ чертъ является конкретнымъ представленіемъ для соответствующаго ряда *понятій*, въ свою очередь группирующихся въ опредѣленный аггломератъ мыслей.

Этотъ аггломератъ мыслей оказывается въ своемъ родѣ органически-связаннымъ цѣлымъ,—ряды понятій, входящихъ въ его составъ, такъ-же гармонически сочетаются, какъ и черты, данныя художникомъ.

¹⁾ Я бы сказалъ: какъ онъ чувствовалъ ее.

Цементомъ, ихъ скрѣпляющимъ, служить только-что разобранная сторона Каратаева. Слѣдя мысленно за постановкой и развитіемъ ея чертъ, мы видимъ, какъ незамѣтно она, разростаясь, переходитъ въ другія его стороны. Каратаевъ, какъ воплощеніе наивной рѣчи и мысли, какъ представитель бессознательнаго коллективнаго творчества и носитель соотвѣтственнаго самочувствія, необходимо долженъ быть *крестьяниномъ* и при томъ стараго, патріархальнаго склада съ ясно выраженными чертами идеализированнаго крестьянскаго благообразія. Излишне пояснять, что напр. его нельзя было-бы приурочить къ другому сословію, хотя-бы столь-же нерушимо сохраняющему національный складъ. Каратаевъ-мѣщанинъ или купецъ немислимы. И самое *крестьянство* олицетворено въ немъ не только какъ сословіе, а еще болѣе какъ *народъ*, какъ масса, стихійно слагающаяся въ *націю*, стихійно движущаяся, бессознательно творящая свою исторію.

Такъ нечувствительно, какъ бы сами собою, эти два порядка идей, отвѣчающіе двумъ указаннымъ сторонамъ Каратаева, приводятъ насъ къ третьему, связанному съ представленіемъ о Каратаевѣ, какъ о русскомъ національномъ типѣ съ тѣмъ фатализмомъ и оптимизмомъ, съ тѣмъ характернымъ укладомъ воли, о которыхъ мы говорили въ аналитической части нашего очерка. Уже въ основномъ *самочувствіи* Каратаева и самихъ формахъ его умственной и нравственной жизни скрывается зерно національнаго склада нашей психики. И слѣдя за прозябаніемъ этого зерна, протягивая мысленно нити, идущія отъ рѣчи, мысли, пѣсни и самочувствія Каратаева, все дальше и дальше, мы приходимъ къ пѣлому ряду понятій, относящихся къ нашей національной психологии и открывающихъ намъ умственные перспективы въ глубь народнаго духа, въ историческую даль прошлаго, въ невѣдомую даль грядущаго.

Мы уже указывали на то, что въ Кутузовѣ и Каратаевѣ наша національная форма въ известной мѣрѣ *идеализирована*, и что такая художественная идеализація должна быть признана вполне законной. Она была внушена Толстому тѣмъ живымъ чувствомъ національности, во власти котораго онъ былъ, когда писалъ «Войну и Миръ». Надо отдать ему полную справедливость въ томъ, что онъ въ этомъ отношеніи сумѣлъ воздержаться отъ соблазна впасть въ національную исключительность, въ национальное самомнѣніе и шаблонный патріотизмъ. Этихъ отрицательныхъ сторонъ возбужденнаго національнаго чувства и слагающагося національнаго самосознанія совѣтъ нѣтъ въ «Войнѣ и Мирѣ», какъ и вообще онъ чужды Толстому. Достаточно, для подтвержденія, указать на фигуру Ростовчина и на его дѣятельность, какъ онъ представленъ въ «Войнѣ и Мирѣ», на описаніе пожара Москвы, на далеко не шаблонно-патріотическое отношеніе ко многимъ дѣятелямъ эпохи. Единственнымъ исключеніемъ да и то скорѣе кажущимся, чѣмъ дѣйствительнымъ, пред-

ставляется отношеніе Толстого къ Наполеону, изображенному съ явнымъ пристрастіемъ и нескрываемымъ озлобленіемъ. Но если это изображеніе и вытекало изъ возбужденнаго національнаго чувства, то во всякомъ случаѣ—не прямо, а косвенно. Наполеонъ антипатиченъ Толстому не потому, что онъ—врагъ, иностранный завоеватель, а потому, что онъ, въ глазахъ Толстого,—живое олицетвореніе того «фальшиваго героя», котораго, по мнѣнію нашего художника-мыслителя, «выдумала» исторія. Настоящій, нелегандарный Наполеонъ казался Толстому жалкимъ, ничтожнымъ орудіемъ фатальнаго хода вещей, щепкою, вознесенною наверхъ исторической волной и воображающей, что она-то, щепка, эту волну и подняла. Весьма возможно (судить не берусь), что этотъ взглядъ невѣренъ, но онъ не былъ прямо внушенъ Толстому возбужденнымъ національнымъ чувствомъ, а вытекалъ вполне логически изъ всей системы историко-философскихъ воззрѣній Толстого, изложенныхъ во второй части «Эпилога». Правда, сама эта система, какъ бы мы о ней ни судили, прежде всего была прямымъ порожденіемъ тѣхъ сторонъ ума и природы Толстого, которыя по праву могутъ быть разсматриваемы, какъ *типично-русскія, національныя*. Она не что иное, какъ переводъ «Кутузовщины» и «Каратаевщины» на философскій языкъ. Въ этомъ смыслѣ я вижу нѣкоторую связь, довольно отдаленную, впрочемъ, между отрицательнымъ отношеніемъ къ Наполеону и возбужденнымъ национальнымъ чувствомъ. Волна этого чувства докатилась до Наполеона не прямокомъ, а окольнымъ путемъ, вызвавъ въ Толстомъ творческую работу національныхъ силъ его генія, завершившуюся философіей «Эпилога». Съ высоты этой философіи и былъ осужденъ Наполеонъ.

Историко-философская теорія Толстого неоднократно подвергалась суровой критикѣ. Въ ней дѣйствительно есть парадоксы и натяжки, есть «узвимыя мѣста». Но при всемъ томъ я не могу считать ее, какъ это дѣлали многіе критики, ненужнымъ придаткомъ къ эпопеѣ, бесплодными умствованіями, которыя будто бы только портятъ ее. Я думаю, напротивъ, что теорія не только ниче не портитъ, но является необходимымъ завершеніемъ «Войны и Мира». Великая національная эпопея, наша Иліада и Одиссея, была бы не полна, не закончена безъ этой добавочной волны идей, вызванныхъ въ умѣ художника дѣйствіемъ того процесса творчества, который далъ бытіе самой эпопеѣ. И я увѣренъ, что если Толстой въ разныхъ изданіяхъ «Войны и Мира» не опускаетъ этихъ «разсужденій», то имъ въ этомъ случаѣ руководитъ не только самолюбіе мыслителя, но и чутье художника. Вообще всякаго рода размышленія и теоріи, возникающія въ умѣ художника, если только онъ искренни и органически связаны съ самымъ процессомъ творчества (а не насильственно къ нему притянуты) никогда не могутъ вредить дѣлу. Требовать отъ художника, чтобы онъ только «рисовалъ» и не смѣлъ

разсуждать и комментировать свой рисунокъ было бы педантизмомъ. И такое требованіе менѣе всего было бы уместно въ примѣненіи къ Толстому, который, по самой природѣ своего генія, въ противоположность Тургеневу, есть художникъ философствующій. Иначе говоря, Толстой, созидая свои образы, не только *созерцаетъ* представляемую ими идею, но стремится привести ее въ органическую связь съ собственнымъ своимъ міросозерцаніемъ и проникнуть по возможности глубже, какъ въ эту идею, такъ и въ тѣ явленія жизни, которыя такъ или иначе съ нею связаны. Что касается специально «Войны и Мира», то тѣсная, органическая связь историко-философской теоріи Толстого съ содержаніемъ и духомъ эпопеи представляется мнѣ несомнѣнною. Эту связь можно резюмировать такъ: 1) эпопея, въ своей Илиадѣ—«Войнѣ» и въ своей Одиссеѣ—«Мирѣ», равно изображаетъ *фатальный* ходъ вещей, *иррациональную* природу процессовъ жизни человѣческой, *независимость* ихъ отъ воли ея участниковъ и дѣятелей; 2) въ Каратаевѣ и Кутузовѣ соотвѣтствующій этой идеѣ умственный и волевой складъ представленъ какъ одна изъ чертъ русской національной психикі; 3) въ разсужденіяхъ (въ текстѣ) и въ историко-философскомъ трактатѣ «Эпилога» та-же идея развита въ систематической формѣ, отъ лица автора, и, являясь продуктомъ чисто-національнаго русскаго пошиба мысли (я готовъ былъ казать: русскихъ умственныхъ *вкусовъ*), естественно увѣличиваетъ все знаніе національной эпопеи. Отсюда слѣдуетъ и обратное: вторая часть «Эпилога», взятая отдѣльно отъ «Войны и Мира», разсматриваемая просто какъ историко-философскій трактатъ, большаго значенія не имѣетъ. Несмотря на нѣкоторыя вѣрныя и глубокія мысли, она не заняла и не займетъ виднаго мѣста въ литературѣ по философій исторіи, ибо она—не плодъ методическаго изслѣдованія сущности историческаго процесса, а только попытка дать философское выраженіе той точкѣ зрѣнія на историческій процессъ, на роль и призваніе историческихъ дѣятелей и «героевъ», на «причинную связь» въ исторіи и т. д., которая логически можетъ быть выведена изъ «Каратаевщины» и «Кутузовщины» и которая не переставала вдохновлять художника, когда онъ создавалъ величайшее изъ своихъ произведеній.

ГЛАВА VI.

Положительные великосвѣтскіе типы.

I.

Во многихъ отношеніяхъ (и между прочимъ въ количественномъ) типы и картины *великосвѣтской* жизни занимаютъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ художественной дѣятельности Толстого.

Чтобы дать посильную опѣнку и выяснить значеніе этого—аристократическаго—элемента въ творчествѣ Толстого, необходимо сперва разсмотрѣть важнѣйшіе образы, сюда относящіеся. Прежде всего обратимся къ *положительнымъ* типамъ «Войны и Мира» и начнемъ съ князя *Андрея Болконскаго*.

Здѣсь необходимо вспомнить, что передъ тѣмъ, какъ Толстой приступилъ къ созданію «Войны и Мира» (1864), онъ останавливался на другомъ художественномъ замыслѣ и даже набросалъ одинъ отрывокъ. Романъ былъ задуманъ на тему «Декабристы», о немъ находимъ слѣдующія свѣдѣнія въ примѣчаніи, предпосланномъ упомянутому отрывку¹⁾: «печатаемыя здѣсь три главы романа подъ заглавіемъ «Декабристы» были написаны еще прежде, чѣмъ авторъ принялся за «Войну и Миръ». Въ то время онъ задумывалъ романъ, котораго главными дѣйствующими лицами должны быть декабристы, но не написалъ его, потому что, стараясь воссоздать время декабристовъ, онъ невольно переходилъ мыслью къ предыдущему времени, къ *прошлому своимъ героямъ*. Постепенно передъ авторомъ раскрывались все глубже и глубже источники тѣхъ явленій, которыя онъ задумывалъ описать,—*семья, воспитаніе, общественныя условія и проч. избранныя имъ лица*; наконецъ, онъ остановился на времени войнъ съ Наполеономъ, которое и изобразилъ въ «Войнѣ и Мирѣ». Въ концѣ этого романа видны уже признаки того возбужденія, которое отразилось въ событіяхъ 14-го декабря 1825 года».—(Сочиненія, ч. XII-я, стр. 229).

Не трудно догадаться, что, если-бы романъ «Декабристы» былъ написанъ, то въ немъ въ числѣ лицъ, причастныхъ движенію, закончившемуся событіемъ 14-го декабря, оказался-бы Пьеръ Безуховъ, а Наташа попала-бы въ число тѣхъ «русскихъ женщинъ», которыхъ воспѣлъ Некрасовъ. Такъ-же точно представляется очевиднымъ, что, если-бы рана, полученная княземъ Андреемъ Болконскимъ въ Бородинскомъ сраженіи, не оказалась смертельною,—онъ явился-бы въ свое время однимъ изъ организаторовъ и вожаковъ движенія.

Я предполагаю, что сюжетъ «Декабристовъ» привлекалъ къ себѣ художническую пылкость Толстого не только своимъ историческимъ значеніемъ, своимъ драматизмомъ и выдающимися качествами дѣйствующихъ лицъ, какъ *характеровъ*, но также (а, быть можетъ, и въ особенности) тѣмъ, что это столь яркое и единственное въ своемъ родѣ явленіе въ нашей исторіи было въ значительной мѣрѣ продуктомъ великосвѣтской психологической формы, что въ немъ аристократія происхожденія, воспитанія, карьеры, общественнаго положенія проявилась въ то же время

¹⁾ Онъ написанъ былъ въ 1863 г. Какъ извѣстно, существуетъ и другой отрывокъ, написанный въ 70-хъ годахъ. Намъ интересуютъ здѣсь только первый.

какъ аристократія ума, характера и нравственныхъ качествъ. Первенствующая роль въ движеніи принадлежала молодежи высшаго круга; тутъ были и представители старинныхъ аристократическихъ фамилій, и представители той искусственно-созданной, чиновной «разночинной» (если можно такъ выразиться) знати, которая такъ быстро сформировалась у насъ съ легкой руки Петра Великаго: всѣ они путемъ своеобразнаго воспитанія и образованія объединялись въ одну сословно-психологическую группу, гдѣ развѣ только очень опытный наблюдатель могъ уловить нѣкоторыя черты различія, которыми всетаки отличались другъ отъ друга съ одной стороны люди «крови и породы», а съ другой дѣти или внуки «случайныхъ» людей временъ Елисаветы и Екатерины, — тѣхъ, что «прыгали въ князья изъ хохловъ» или «пѣли на клиросѣ съ дьячками». — *Андрей Болконскій* — представитель первыхъ, *Пьеръ Безуховъ* — вторыхъ. Но эти различія не только не нарушали единства сословной психологии, — они не вляли также на составъ, характеръ и послѣдовательныя измѣненія того, что въ разное время составляло *содержаніе* этой психологической формы. И аристократы «крови», и аристократы разночиннаго происхожденія одинаково воспринимали вольтерьянство и другія освободительныя идеи «вѣка просвѣщенія», одинаково проникались патриотическими стремленіями и героическимъ духомъ эпохи 1812 года, одинаково жертвовали собою въ эпоху 1825 года, — воодушевленные идеями, ничего общаго неимѣющими съ сословными тенденціями и направленными въ сторону общегосударственныхъ и общенародныхъ интересовъ.

Есть два способа изучать и изображать *движенія умовъ* въ обществѣ, возникновеніе, ходъ и итоги извѣстныхъ общественныхъ стремленій, дѣятельность партій и т. д. Во-первыхъ, можно интересоваться исключительно *содержаніемъ* руководящихъ идей, *цѣлями*, къ которымъ стремятся лица, принимающія участіе въ движеніи, событіями и результатами, къ которымъ оно привело; при этомъ вопросъ объ интимномъ внутреннемъ мірѣ дѣятелей и о ихъ психологической формѣ остается въ сторонѣ; къ нему обращаются только въ томъ случаѣ, когда это представляется необходимымъ для объясненія самихъ идей, событій и т. д. — Другой способъ состоитъ въ томъ, что именно эта — психологическая сторона и выдвигается на первый планъ. Исследователь прежде всего хочетъ уяснить себѣ, что это за люди, чьихъ стремленія, подвиги, судьбу онъ будетъ изучать, — каковъ ихъ внутренній міръ, взятый въ его будничномъ обиходѣ, независимо отъ воодушевляющихъ ихъ идей, — наконецъ, къ какой психологической формѣ (сословной и иной) принадлежатъ они, — вѣдь эта форма и составляетъ ихъ характерную «физиономію», ихъ душевную «складку». Толстой, какъ извѣстно, такъ именно и ставитъ вопросъ, и для него идеи, волновавшія умы, общественныя движенія, стремленія передовыхъ партій получаютъ весь свой интересъ только тогда, когда

онѣ берутся не отвлеченно, а воплощаются въ живыхъ людей, чьихъ онъ и анализируетъ со свойственнымъ ему даромъ психологическаго прозрѣнія. Такъ, «Война и Миръ», можно сказать, изображаетъ намъ не событія, не идеи или руководящія стремленія эпохи, а живьемъ взятыхъ людей того времени; событія-же, идеи и пр., — это только часть ихъ жизни или часть обстановки, среди которой она протекала. Если-бы Толстой написалъ «Декабристовъ», то — я увѣренъ — при первомъ чтеніи мы были-бы шокированы этимъ художественнымъ приѣмомъ, который можно-бы назвать своего рода разбѣномъ большихъ душевныхъ цѣнностей на мелкую, ходячую монету, на пятаки и гривенники повседнежнаго душевнаго прихода и расхода. Въ отрывкѣ 1863 года, изображающемъ возвращеніе амнистированнаго престарѣлаго декабриста въ 1856 году, мы видимъ уже первый опытъ такого «разбѣна»: замѣчательный человекъ, герой, сильный характеръ, — представленъ здѣсь со стороны разныхъ душевныхъ мелочей, пустяковъ, слабостей, иногда смѣшныхъ. Но вы чувствуете, что это не есть разбѣиваніе героя, что тутъ не было желанія его унижить, умалить, опошлить: это только — разбѣивъ душевныхъ цѣнностей, при чемъ въ конечномъ итогѣ, эти цѣнности все-таки остаются цѣнностями, — онѣ отнюдь не *обезцѣниваются*. Разбѣивъ же нуженъ для того, чтобы шаблонная фигура героя, которую всегда можно, зная его дѣянія, построить априорно, какъ-бы вывести дедуштивнымъ путемъ, преобразилась въ живую человѣческую личность съ ясно-выраженной психологической формой (напр. сословной), со всею массою мелкихъ душевныхъ проявленій; со всѣми характерными чертами воспитанія, среды, эпохи. Въ данномъ случаѣ среди многихъ чертъ, сгруппированныхъ въ отрывкѣ, мы ясно различаемъ признаки великосвѣтской психологической формы, своеобразнаго барскаго воспитанія, той особой (нынѣ, кажется, уже не существующей) утонченности или, если можно такъ выразиться, душевной шлифовки, которая психологически была сродни гуманности и незамѣтно въ нее переходила ¹⁾. Вотъ именно въ области этого рода художественныхъ изысканій Толстой даетъ намъ возможность уловить эти нити, которыми положительное содержаніе людей эпохи 1825 года (ихъ идеи, идеалы, стремленія) связывалось съ аристократическою формою ихъ психики. Въ «Войнѣ и Мирѣ» онъ и покажетъ намъ дѣйствіе этихъ связующихъ нитей, и мы убѣдимся въ томъ, что въ самомъ дѣлѣ аристократическая форма психики заключаетъ въ себѣ элементы, силою которыхъ она гармонируетъ съ общегуманнымъ пошибомъ содержанія, съ восприимчивостью мысли къ прогрессивнымъ и освободительнымъ идеямъ, съ аристократизмомъ ума и характера, съ развитіемъ чести.

¹⁾ Сюда относятся указаніе на то, что «Петръ Ивановичъ (декабристъ) *имѣлъ привычку* говорить *вы* всѣмъ безъ исключенія, кромѣ членовъ своего семейства». Раздавая на чай ямщикамъ, онъ говоритъ: «вотъ вамъ, а вотъ вамъ».

Семья Болконских (Волконских) является лучшей представительницей этого высшего аристократизма, разными своими сторонами, как-бы по частям, типично-выраженного в старом князе, у которого он смѣшанъ съ деспотизмомъ и крѣпостничествомъ вельможи XVIII-го вѣка, въ княжѣ Марѣ, гдѣ онъ претворенъ въ утонченную гуманность теплолично воспитанной женской природы, и—въ особенности—въ князѣ Андреѣ, психику котораго, очень сложную и очень любопытную, намъ предстоитъ теперь разобрать по возможности обстоятельно. Онъ этого заслуживаетъ, хотя-бы въ виду того, что, вмѣстѣ съ Пьеромъ Безуховымъ, онъ является центральной фигурой «Войны и Мира».

II.

Нѣкоторыя, очень ярко выраженные, черты сословной аристократической психологии князя Андрея служили иногда для читателей и критиковъ камнемъ преткновения, мѣшавшимъ имъ отнестись къ нему съ должнымъ безпристрастіемъ и понять его такъ, какъ этого хотѣлъ-бы авторъ. Въ нѣкоторыхъ сценахъ кн. Андрей производитъ невыгодное впечатлѣніе—самомнящаго фата, надменнаго и ломающагося великосвѣтскаго льва. Если судить о немъ по этому впечатлѣнію, не принимая въ соображеніе многихъ другихъ чертъ, его парализующихъ, то получится характеристика князя Андрея, столь-же невѣрная и пристрастная, какъ та, которую сдѣлалъ въ своемъ родѣ остроумный военный критикъ «Войны и Мира»—генераль Драгомировъ. «Кн. Андрей»—говоритъ онъ,—«принадлежитъ къ числу тѣхъ, нерѣдко встрѣчаемыхъ характеровъ, которые, по странному капризу природы, представляютъ соединеніе громаднхъ претензій съ недостаткомъ силъ для ихъ удовлетворенія... Просимъ припомнить появленіе кн. Андрея на сцену: въ свѣтѣ онъ щурится, едва отвѣчаетъ, всѣхъ и вся третируетъ съ высоты своего величія; предъ вами человѣкъ, который изо всѣхъ силъ бьется, чтобы *не быть*, а *казаться*, который играетъ роль, который не есть сила, а только претензія на силу...» (Разборъ романа «Война и Миръ». Кіевъ, 1895, стр. 38). На этомъ отзывѣ стоитъ остановиться: онъ принадлежитъ писателю, который умѣетъ не только зло и остроумно критиковать, но и хорошо понимать то, что критикуетъ (способности, не всегда, къ сожалѣнію, совмѣщающіяся),—тѣмъ любопытнѣе, стало быть, выяснить происхожденіе столь явно несправедливаго приговора.

Если не ошибаюсь, немилость знаменитаго стратега къ князю Андрею была порождена двумя причинами: во-первыхъ, аристократическая форма психики кн. Андрея, должно быть, глубоко-антипатична генералу Драгомирову, какъ носителю совсѣмъ другой психологической формы; во-вторыхъ, кн. Андрей—диллетантъ войны и слишкомъ самоувѣренно и раз-

визио судить о военныхъ вопросахъ, не имѣя на это тѣхъ правъ «мастера», которыя приобретаются, по выраженію ген. Драгомирова, лишь «тяжелымъ и долгимъ пребываніемъ въ подмастерьяхъ»; не пройдя этой суровой школы, не выдавъ «ни разу войны лицомъ къ лицу», онъ «является на нее съ готовыми и законченными военными взглядами» (стр. 39),—вотъ чего ген. Драгомировъ, мастеръ и авторитетъ въ практикѣ и теоріи войны, не можетъ простить князю Андрею. Въ довершеніе всего, послѣдній со свойственною ему, по мнѣнію ген. Драгомирова, опрометчивостью, совершилъ поступокъ, который долженъ былъ окончательно уронить его въ глазахъ генерала: онъ, «пользуясь привилегіями той среды, которую повидимому такъ презираетъ» (стр. 38—39), поступилъ адъютантомъ къ Кутузову,—отнынѣ онъ штабный аристократикъ, и ген. Драгомировъ, кажется, въ самомъ дѣлѣ думаетъ, что кн. Андрей въ этой должности «усвоилъ себѣ нравы передней главнокомандующихъ, прамѣняя къ дѣлу «неписанную» субординацію не хуже любого Теркова» (стр. 39).—Нижеслѣдующій анализъ природы молодого Болконскаго, надѣюсь, покажетъ, какъ далека отъ правды эта характеристика ¹⁾.

На всемъ протяженіи романа кн. Андрей Болконскій неизмѣнно проявляется какъ человѣкъ *очень умный, рѣдко-серьезный* и съ *большими запросами живой общественной и даже государственной дѣятельности*, при чемъ эти запросы—не пустыя претензіи, а основываются на соответствующихъ имъ способностяхъ. Это одна изъ тѣхъ натуръ, которыя смотрятъ на жизнь какъ на серьезное и ответственное дѣло, а не времяпрепровожденіе, и понимаютъ это дѣло въ смыслѣ служенія общему благу, руководясь правиломъ «noblesse oblige». Въ связи съ этимъ у кн. Андрея мы видимъ проявленіе большого честолюбія и стремленіе къ власти, къ авторитарности. Но рядомъ съ этими мотивами у него въ душѣ властно, «категорически» заправляетъ «императивъ» долга, самоотверженія, безкорыстнаго подвига.

Таковъ нашъ взглядъ на князя Андрея, являющійся конечнымъ *итогомъ*, въ которомъ реализуется большая душевная *цѣнность*, представленная этимъ человѣкомъ. Разсмотримъ же теперь *слабейшую*, мелкія монеты—результаты произведеннаго Толстымъ психологическаго *размѣна*.

Впервые личность кн. Андрея начинаетъ выясняться въ главахъ V-й и VI-й I-й части I-го тома, гдѣ въ бесѣдѣ съ Пьеромъ Безуховымъ онъ

¹⁾ Укажу здѣсь лишь мелькомъ, что она фактически не вѣрна: кн. Андрей третируетъ не всѣхъ и вся, а только очень многихъ—кого не уважаетъ. Пьера Безухова, кап. Тушина, Тимохина—онъ не третируетъ, а относится къ нимъ сердечно и просто. Въ штабѣ онъ не остается служить и карьеры тамъ не дѣлаетъ, а всегда стремится участвовать въ дѣлѣ, переходить въ полкъ, отъ опасностей не уклоняется, даже ищетъ ихъ. Усваивать нравы передней главнокомандующихъ не можетъ—по самой своей натурѣ и т. д. и т. д.

рѣзко высказываетъ свою неудовлетворенность жизнью и обнаруживаетъ крайне пессимистическое настроеніе, очевидно, вызванное недовольствомъ семейной жизнью (или точнѣе—женою, какъ существомъ пустымъ, не подѣ парю ему, неспособнымъ его понять), а также—средю, свѣтскимъ обществомъ. Мы слышимъ изъ его устъ рѣзкую критику этого общества, въ особенности его «прекрасной» половины ¹⁾. Въ минуты такихъ припадковъ пессимизма кн. Андрей не щадитъ и себя самого. «Я теперь отправляюсь на войну»—говоритъ онъ—«на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не пожу». (Гл. VI).—Эти слова, хотя и сказанныя въ минуту раздраженія—плодъ явнаго преувеличенія, всетаки могутъ служить отчасти свидѣтельствомъ противъ ген. Драгомирова, такъ настойчиво выставляющаго на видъ необычайное якобы самоиѣніе кн. Андрея и въ то же время замалчивающаго его несомнѣнныя положительныя качества.

А между тѣмъ эти качества намѣчаются уже тутъ, въ этихъ первыхъ сценахъ, гдѣ выведенъ кн. Андрей. Правда, они именно только намѣчаются, а не проявляются въ дѣйствіяхъ, въ поступкахъ героя, но и этого пока достаточно,—подтвержденіе фактами явится въ свой чередъ. Пока мы, такъ сказать, со стороны (отъ автора) узнаемъ, что молодой Болконскій обладаетъ недюжинной силой воли, большой способностью работать и учиться, начитанностью (т. е. широкимъ образованіемъ: «онъ все читалъ, все зналъ») и, наконецъ, въ противоположность Пьеру, характеризуется отсутствіемъ способности къ «мечтательному философствованію». Толстой именно хочетъ внушить намъ взглядъ на князя Андрея, какъ на человѣка съ призваніемъ къ *практической живой дѣятельности*, съ которою такъ гармонируютъ только-что перечисленныя качества. И ужъ, конечно, не зря приписываетъ Толстой своему герою эти качества: такимъ онъ его задумалъ,—такимъ и является князь Андрей на различныхъ поприщахъ. Если-же, какъ указываетъ на это генералъ Драгомировъ, онъ оказывается въ концѣ-концовъ *неудачникомъ*, то это происходитъ не отъ «пустоты» ²⁾, не отъ недостатка выдержки и не отъ отсутствія настоящей «силы» (одну лишь «претензію на силу» усматриваетъ въ немъ критикъ), а совсѣмъ отъ другихъ причинъ, которыя выяснятся ниже.

Имѣя въ виду вполнѣдствіи провести параллель между натурою кн. Андрея и натурою Пьера, вспомнимъ здѣсь-же то, что говоритъ въ этой

¹⁾ «Ежели бы ты только могъ знать, что это такое всѣ эти свѣтскія женщины Отецъ мой правъ. Эгоизмъ, тщеславіе, тупоуміе, ничтожество во всемъ—вотъ женщины...» (Гл. VI-я).

²⁾ Ген. Драгомировъ между прочимъ говоритъ о немъ: «жаль его, человѣкъ до известной степени (?) пожалуй даже способный и съ характеромъ, во практически пустой» (!) (стр. 40).

главѣ (VI) Толстой о различіи между ними. «Пьеръ считалъ князя Андрея образцомъ всѣхъ совершенствъ именно оттого, что кн. Андрей въ высшей степени соединялъ всѣ тѣ качества, которыхъ не было у Пьера и которыя ближе всего можно выразить понятіемъ *силы воли*... Ежели часто Пьера поражало въ Андрей отсутствіе способности мечтательнаго философствованія (къ чему особенно былъ склоненъ Пьеръ), то и въ этомъ онъ видѣлъ не недостатокъ, а силу».

Такимъ образомъ, коренное различіе между этими двумя натурами и съ тѣмъ вмѣстѣ сильныя стороны натуры Болконскаго указаны здѣсь съ достаточной опредѣленностью, и вся дальнѣйшая внутренняя и также мастерски согласованная съ нею внѣшняя исторія обоихъ главныхъ героевъ «Войны и Мира» является строго послѣдовательнымъ развитіемъ и фактическимъ подтвержденіемъ этой характеристики.

Встрѣчая вновь кн. Андрея въ концѣ I й части I-го тома (главы XXIII—XXV), мы имѣемъ возможность наблюдать его дома, въ семьѣ, въ общеніи съ близкими и самыми дорогими для него лицами (отцомъ и сестрою). Здѣсь прежде всего привлекаетъ наше вниманіе слѣдующая, не даромъ отмѣченная черта: кн. Андрей (пріѣхавшій къ отцу въ его имѣніе Лысыя горы) входитъ въ комнату старика «не съ тѣмъ брюзгливымъ выраженіемъ лица и манерами, которыя онъ напускалъ на себя въ гостинныхъ (и которыми, добавимъ отъ себя, онъ и ввелъ въ заблужденіе ген. Драгомирова), а съ тѣмъ оживленнымъ лицомъ, которое у него было, когда онъ разговаривалъ съ Пьеромъ» (гл. XXIII). Это—мелкая, но мѣткая черта, важная для пониманія натуры князя Андрея. Въ «гостинныхъ», въ «салонахъ» онъ «щурится», онъ преувеличенно вялъ и апатиченъ, вообще держится манерно и съ брезгливостью, которая кажется фатовствомъ, и все это потому, что тамъ онъ чувствуетъ себя, хотя и въ своей средѣ, но скверно, что тамъ все или многое ему претитъ, даже возмущаетъ его. Онъ не Чацкій, чтобы тутъ-же разразиться филиппиками. Взамѣнъ этого, онъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи ту способность или ту слабость утрированнаго, манернаго демонстрированія своего превосходства, которая есть одно изъ слагаемыхъ психологической сословной формы аристократизма. Ею-то онъ и пользуется, пожалуй даже—злоупотребляетъ. Почти также, только, конечно, уже безъ примѣси манерничанья и напускнаго фатовства, держится онъ съ женою: онъ почти не переноситъ ея женской пустоты, въ то же время цѣня ея качества, какъ вѣрной жены и хорошаго человѣка (все это ясно показано въ сценѣ съ женою въ главѣ VI-й). Но съ людьми, которыхъ онъ цѣнитъ и уважаетъ, онъ совсѣмъ другой: съ ними онъ простъ, искрененъ, откровененъ. Таковъ онъ съ отцомъ, сестрою, Пьеромъ. Ниже увидимъ, что таковъ-же онъ, напримѣръ, съ капитаномъ Тушинымъ, Тимохинымъ и друг. Князь Андрей уважаетъ и цѣнитъ

тѣхъ, въ комъ онъ видитъ *серьезное душевное содержаніе*. Это человѣкъ, который менѣе всего руководится въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ мотивомъ, схваченнымъ въ поговоркѣ: «не похорошу миль, а помилу хорошъ». Для него «миль» тотъ, кто, по его понятію, «хорошъ», а хорошъ тотъ, кто уменъ, содержателенъ, незауряденъ, честенъ, правдивъ, или, при небольшихъ умственныхъ силахъ, обладаетъ извѣстнымъ запасомъ убѣжденій, хорошо направленныхъ мыслей и серьезныхъ чувствъ, хотя-бы нѣкоторыя черты ума или характера человѣка и вызвали въ немъ критическое или ироническое отношеніе. «Мечтательное философствованіе» Пьера и соответственныя мысли его (напрямѣръ, о войнѣ съ Наполеономъ) кажутся Андрею вздоромъ,—деспотизмъ, родовая силъ и разныя причуды отца вызываютъ въ немъ иронию и даже болѣе серьезный протестъ, сентиментальная набожность княжны Марьи служитъ предметомъ его благодушныхъ, впрочемъ, насмѣшекъ, но все это не мѣшаетъ ему цѣнить этихъ лицъ, какъ они того заслуживаютъ, не потому, что они его родные, близкіе, а потому, что они имѣютъ положительное душевное содержаніе, чего нѣтъ у его жены, у князя Василя, у многихъ лицъ «изъ общества». Для иллюстраціи сказаннаго укажу, напри- мѣръ, на сцены съ отцомъ, сестрой, отзывъ кн. Андрея объ отцѣ по поводу «генеалогическаго древа» и на превосходную сцену прощанія съ отцомъ (тѣ-же главы): здѣсь въ мелочахъ, тонѣ, манерѣ, разговорахъ ясно очерчивается то простое, задушевное и умное отношеніе князя Андрея къ отцу и сестрѣ, которое психологически-последовательно вытекаетъ изъ только-что указанной мною основной черты его натуры.

Переходимъ ко II-й части I-го тома. Здѣсь, въ главѣ III-й, мы встрѣчаемъ кн. Андрея въ штабѣ Кутузова (кампанія 1805 г.). Какимъ онъ является здѣсь, какъ себя ведетъ и держитъ, объ этомъ сперва узнаемъ изъ прямого свидѣтельства Толстого. «Въ штабѣ Кутузова (читаемъ здѣсь), между товарищами сослуживцами и вообще въ арміи кн. Андрей, также какъ и въ петербургскомъ обществѣ, имѣлъ двѣ совершенно противоположныя репутаціи. Одни, меньшая часть, признавали кн. Андрея чѣмъ-то особеннымъ отъ себя и отъ всѣхъ другихъ людей, ожидали отъ него большихъ успѣховъ, слушали его, восхищались имъ и подражали ему; и съ этими людьми князь Андрей былъ простъ и приятенъ. Другіе, большинство, не любили князя Андрея, считали его надутымъ, холоднымъ и неприятнымъ человѣкомъ. Но съ этими людьми кн. Андрей умѣлъ поставить себя такъ, что его уважали и даже боялись». (Глава III).

Все это показано на дѣлѣ въ рядѣ штабныхъ, лагерныхъ, военныхъ сценъ (столкновеніе кн. Андрея съ Жарковымъ ¹⁾), гл. III, съ Нико-

¹⁾ Толстой, гдѣ нужно, не щадитъ своего героя, и въ этой сценѣ съ Жарковымъ заставляетъ его ужъ очень «ломаться» и даже нарочно коверкать русскій языкъ.

лаемъ Ростовымъ, часть III, гл. VII и др.). Изъ этихъ сценъ особенно важны для характеристики кн. Андрея тѣ, гдѣ онъ встрѣчается съ капитаномъ Тушинымъ, котораго онъ сразу понялъ и полюбилъ. Въ гл. XX-ой (II-ой части) онъ выступаетъ энергичнымъ защитникомъ храбраго на войнѣ и робкаго среди штабныхъ офицеровъ капитана передъ Багратиономъ, которому представили дѣйствія Тушина въ неблагопріятномъ видѣ. Здѣсь кн. Андрей является въ очень симпатичномъ свѣтѣ,— какъ и вообще все время его пребыванія въ отрядѣ Багратиона. Своимъ серьезнымъ отношеніемъ къ дѣлу, стараніемъ во все выкнутъ, исполнить свою обязанность какъ можно лучше, наконецъ, храбростью, онъ рѣзко выдѣляется изъ ряда другихъ штабныхъ офицеровъ,—и только въ силу явно предвзятаго и пристрастнаго къ нему отношенія ген. Драгомировъ могъ поставить его на одну доску съ этими послѣдними.

Къ этому же періоду въ жизни Болконскаго, когда онъ участвовалъ въ кампаніи 1805 года, относится крайнее развитіе въ немъ одной изъ основныхъ чертъ его сложной натуры—*честолюбія*. Князь Андрей лелѣялъ честолюбивыя мечты—отличиться такъ, чтобы обрѣсти свой «Тулонъ», т.-е., иронически замѣчаетъ ген. Драгомировъ, «попасть въ Наполеоны». Когда онъ узналъ отъ дипломата Билибина (въ Брюннѣ, куда былъ посланъ съ рапортомъ къ австрійскому императору), «что русская армія находится въ безнадежномъ положеніи, ему пришло въ голову, что ему-то именно и предназначено вывести русскую армію изъ этого положенія, что вотъ онъ тотъ Тулонъ, который выведетъ его изъ рядовъ неизвѣстныхъ офицеровъ и откроетъ ему первый путь къ славѣ! Слушая Билибина, онъ соображалъ уже, какъ, пріѣхавъ къ арміи, онъ на военномъ совѣтѣ подастъ мнѣніе, которое одно спасетъ армію, и какъ ему одному будетъ поручено исполненіе этого плана». (Ч. II, гл. XII). Сурово осуждая кн. Андрея за эти честолюбивыя мечты не по заслугамъ, ген. Драгомировъ упускаетъ изъ виду, что эти пылкія мечты, однако, отнюдь не побуждаютъ кн. Андрея оберегать себя отъ опасностей, держаться при штабѣ на безопасныхъ пунктахъ, вращаться исключительно среди сильныхъ міра сего, гдѣ при его связяхъ и положеніи въ свѣтѣ онъ всегда имѣлъ возможность выдвинуться. Напротивъ, кн. Андрей хочетъ быть при дѣлѣ, для чего и отпрашивается у Кутузова въ отрядъ Багратиона, и наконецъ въ Аустерлицкомъ сраженіи, описанномъ въ гл. XVI-ой и XVII-ой, III-ей части, бросается впередъ со знаменемъ въ рукѣ, увлекая за собою разстроенный баталіонъ, падаетъ раненый. Такъ не ведутъ себя пустые штабные карьеристы, какимъ выставляетъ князя Андрея ген. Драгомировъ.

какъ это дѣлали зачастую въ ту эпоху наши аристократы, притворявшіеся плохо говорящими по-русски. Это была особая мода и особый «тонъ» и «шникъ».

Во *второмъ* томѣ мы впервые встрѣчаемъ кн. Андрея въ гл. VIII-ой I-ой части, гдѣ съ потрясающей простотою и удивительной пластикою изображенія рассказаны важныя событія изъ личной жизни героя. Это именно его внезапный прїѣздъ къ отцу, который считалъ его убитымъ, рожденіе ребенка и смерть жены. Здѣсь натура кн. Андрея ярко выступаетъ какъ бы сама собою изъ краткаго, почти лаконическаго изображенія того, какъ онъ себя держалъ въ это время. Все это воспроизведено безъ помощи психологическаго анализа, на который такъ щедръ Толстой и въ которомъ онъ такой мастеръ. Въ замѣнъ психологическаго анализа Толстой съ огромнымъ эффектомъ примѣняетъ здѣсь другой прїемъ,—такъ сказать, *скульптурный, пластическій*—тотъ самый, которымъ изображенъ (не только въ этихъ сценахъ, но и вообще) старый князь Болконскій. Семейныя черты и родство натуръ у отца и у сына выступаютъ здѣсь, благодаря этому единству манеры письма, тѣмъ ярче и нагляднѣе.

Подъ влияніемъ всего, что испыталъ кн. Андрей на войнѣ и дома, онъ впалъ въ мрачное, угнетенное настроеніе, въ которомъ и засталъ его Пьеръ Безуховъ, прїѣхавшій навѣстить своего друга въ его богучаровскомъ уединеніи. Это свиданіе рассказано въ главѣ XI-ой II-ой части II-го тома. Здѣсь мы видимъ князя Андрея въ новомъ свѣтѣ и, между прочимъ, не можемъ не отмѣтить лишній разъ сходства его натуры съ натурою его отца, сходства, выступающаго въ данномъ мѣстѣ съ особой наглядностью. Это обуславливалось отчасти тѣмъ, что теперь кн. Андрей, въ силу сложившихся обстоятельствъ, сталъ въ положеніе, отчасти аналогичное тому, въ какомъ находился по необходимости старикъ Болконскій,—положеніе не у дѣлъ, при полномъ разочарованіи какъ въ общемъ ходѣ событий и въ лицахъ, имъ заправлявшихъ, такъ и въ возможности осуществленія собственныхъ честолюбивыхъ плановъ. Князь Андрей переживалъ тяжелый душевный кризисъ, одно изъ тѣхъ состояній подавленности и раздраженія, которыя характеризуются рѣзкою переменою въ соотносительномъ расположеніи душевныхъ элементовъ и въ обостреніи нѣкоторыхъ чертъ натуры, въ обыкновенное время затуманенныхъ воздѣйствіемъ разныхъ внутреннихъ мотивовъ и вѣшнихъ влияній, теперь отсутствующихъ. При такомъ кризисѣ человекъ ищетъ уединенія и замыкается въ себѣ. Онъ охлаждаетъ къ людямъ, даже близкимъ, устраняется отъ жизни, отъ общества и углубляется въ упорную внутреннюю работу надъ извѣстными мыслями, его осаждающими, и чувствами, большею частью горькими, во власти которыхъ онъ находится теперь. Тогда происходитъ нѣчто въ родѣ самоотравы ядомъ собственныхъ мыслей и чувствъ. И этотъ ядъ выдѣляется изъ разныхъ областей духа, какъ изъ положительнаго содержанія души, такъ и изъ ея формы. Извѣстные элементы перваго, являющіеся при нормальномъ

состояніи качествами положительными (напр., сознаніе своего достоинства, гордость), становятся въ этомъ отравленномъ состояніи недостатками: мотивы (напр. честолюбіе), которые прежде направляли стремленія человека въ хорошую сторону и обѣщали сдѣлать изъ него величину съ большою общественною стоимостью, теперь даютъ или грозятъ дать результаты отрицательные. Съ тѣмъ вмѣстѣ черты, принадлежащія психологической формѣ (напр. сословной), прежде не вторгавшіяся въ положительное содержаніе души, а потому и не квалифицировавшіяся съ точки зрѣнія нравственной, теперь оживаютъ въ сознаніи, проникаютъ въ сферу чувства и воли и, окрашивая собою внутренній міръ человека, проявляются такъ, что даютъ поводъ къ нравственной оцѣнкѣ, зачастую по необходимости приводящей къ болѣе или менѣе неблагоприятному вердикту. Въ такомъ именно состояніи душевнаго упадка и самоотравы и находился кн. Андрей въ рассматриваемый моментъ. Пьера «поразила происшедшая въ немъ перемена. Слова были ласковы, улыбка была на губахъ и лицѣ князя Андрея, но взглядъ былъ потухшій, мертвый... взглядъ этотъ и морщинка на лбу, *выражавшіе долгое сосредоточеніе на чемъ то одномъ*, поражали и отчуждали Пьера...» (гл. XI).—Съ Пьеромъ, котораго онъ всегда такъ любилъ, съ которымъ всегда былъ такъ откровененъ, «онъ не чувствовалъ теперь ничего общаго» и они бесѣдуютъ—«какъ люди мало близкіе другъ къ другу» (ib).—Таковы вѣшніе симптомы перемены, происшедшей въ кн. Андрее,—сущность же ея ярко выражается въ слѣдующемъ.

Князь Андрей всегда былъ аристократъ, большой баринъ. Это прежде всего—сословная форма его психики. Раньше она, оставаясь формою, не приводила къ соответственнымъ чисто-сословнымъ идеямъ, къ аристократическимъ стремленіямъ. Согласно свойствамъ своей натуры, Болконскій стремился къ широкой дѣятельности и мечталъ о славѣ, но въ этихъ стремленіяхъ и мечтахъ онъ отнюдь не руководился чисто-сословными идеалами. Теперь же, въ моментъ постигшаго его душевнаго кризиса, въ состояніи замкнутости и отчужденности, классовая форма психики проявляется у него такъ, какъ будто она не только—форма, но и часть душевнаго содержанія. Презрѣніе къ обществу и къ мужику выступаетъ рѣзкими, рѣжущими ухо звуками и производитъ впечатлѣніе диссонанса.—«Я бы радъ ничего не дѣлать»—говоритъ онъ Пьеру,—«а вотъ съ одной стороны дворянство здѣшнее удостоило меня чести избранія въ предводители: я насилу отдѣлался. Они не могли понять, что во мнѣ нѣтъ того, что нужно, нѣтъ этой извѣстной добродушной и озабоченной пошлости, которая нужна для этого».—Для мужика, по его словамъ, единственное возможное счастье есть счастье животное. «... Ежели ихъ бьютъ, сѣкутъ, посылаютъ въ Сибирь, то я думаю (говоритъ онъ), что имъ отъ этого нисколько не хуже. Въ Сибири ведетъ онъ ту-же скотъ»

скую жизнь, а рубцы на тѣлѣ заживаютъ, и онъ также счастливъ, какъ и былъ прежде» (гл. XI).—«Князь Андрей (говоритъ Толстой) высказывалъ свои мысли такъ ясно и отчетливо, что видно было:—*онъ не разъ думалъ объ этомъ*, и онъ говорилъ охотно и быстро, какъ человѣкъ, долго не говорившій. Взглядъ его оживлялся тѣмъ больше, чѣмъ безнадежныѣ были его сужденія».—Замѣчаніе это намекаетъ на то, что парадоксы и рѣзкія сужденія кн. Андрея не были случайными lapsus linguae, обмолвкой, желчной выходкой, что онъ много и упорно думалъ на эти темы въ своемъ одиночествѣ и какъ бы нарочито и злорадно растравлялъ въ себѣ душевную рану, пока накопившійся ядъ и вся боль души не вылились въ формѣ этихъ безотрадныхъ и недобрыхъ мыслей. Онъ доказываетъ Пьеру, что мужикъ счастливъ въ своемъ убожествѣ, въ своей темнотѣ, умственной и нравственной, и другого счастья онъ не хочетъ и не достоинъ, что даже нелѣпо лѣчить крестьянъ, заводить больницы. «Гораздо покойнѣе и проще ему умереть. *Другіе рождаются, и такъ ихъ много*»,—продолжаетъ растравлять свою рану кн. Андрей.—«Ежели бы ты жалѣлъ, что у тебя лишній работникъ пропалъ, *какъ я смотрю на него*», уже явно клеветаетъ онъ на себя,—«а то ты изъ любви же къ нему его хочешь лѣчить...» Наконецъ, онъ договаривается до вывода, что освобожденіе крестьянъ нужно не для нихъ самихъ, а для успокоенія совѣсти рабовладѣльцевъ: «оно (говоритъ онъ) нужно для тѣхъ людей, которые гибнутъ нравственно, наживаютъ себѣ раскаяніе, подавляютъ это раскаяніе и грубѣютъ отъ того, что у нихъ есть возможность казнить право и неправу. *Вотъ кого мнѣ жалко и для кого бы я желалъ освободить крестьянъ...*»

Эти жестокія слова, представляющіяся плодомъ изощреннаго словнаго эгоизма, который хуже напвнаго, производятъ въ устахъ кн. Андрея впечатлѣніе какого-то крика отъ боли, какой-то клеветы на себя или жестокаго самобичеванія. Такъ, повидимому, чувствовалъ Пьеръ,—и не вѣрилъ, чтобы это были настоящія, подлинныя мысли кн. Андрея. Такъ чувствуемъ и мы и думаемъ, что князь Андрей только въ припадкѣ душевнаго угнетенія могъ ихъ высказывать, что они были выраженіемъ не подлинныхъ его убѣжденій, а только того самоотравленнаго, пессимистическаго состоянія, въ которомъ онъ находился въ данное время. Что даетъ намъ право такъ думать? Во-первыхъ, то общее представленіе о князѣ Андрѣ, которое возникаетъ изъ совокупности всего, что мы о немъ знаемъ, во-вторыхъ, его поступки во время самаго «кризиса»,—хронологически совпадающіе съ только-что приведенными взглядами, но явно имъ противорѣчащіе (о нихъ—ниже); это противорѣчіе недобрыхъ мыслей и добрыхъ дѣлъ показываетъ, что «взгляды» не шли далеко вглубь, не имѣли значенія императива, заправляющаго волею, что они были не болѣе какъ внѣшнее и болѣзненною накипью. Нако-

пецъ, въ-третьихъ, мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи слѣдующаго рода діагнозъ: если спорное душевное состояніе (а) связано узами тѣсной психической ассоціаціи съ другимъ проявленіемъ (б), а это послѣднее очевидно и безспорно оказывается ненормальнымъ, не вытекающимъ изъ природы человѣка, а лишь временнымъ и преходящимъ, то и первое—а—должно быть таковымъ же, хотя бы по нѣкоторымъ пунктамъ оно могло казаться согласнымъ съ натурою субъекта, напр. съ его сословной психикой или наслѣдственными чертами. У кн. Андрея роль второго проявленія,—б—играетъ слѣдующее: «я живу и въ этомъ не виновать, стало быть, надо какъ-нибудь получше, никому не мѣшая, дожить до смерти», говоритъ онъ Пьеру въ отвѣтъ на восклицаніе послѣдняго: «Ахъ это ужасно, ужасно. Я не понимаю, какъ можно жить съ такими мыслями!»—Нѣсколько выше онъ говоритъ: «я жилъ для славы (вѣдь что же слава?—та-же любовь къ другимъ, желаніе сдѣлать для нихъ что-нибудь, желаніе ихъ похвалы). Такъ я жилъ для другихъ, и не почти, а совсѣмъ погубилъ свою жизнь. И съ тѣхъ поръ сталъ спокойнѣе, *какъ живу для одного себя*». И еще (выше): «я знаю въ жизни только два дѣйствительныя несчастья: угрызеніе совѣсти и болѣзнь. И единственное благо есть отсутствіе этихъ двухъ золь. Жить для себя, избѣгая только этихъ двухъ золь,—вотъ вся моя мудрость теперь».

Вотъ этой-то «мудрости» ни Пьеръ, ни мы ужъ рѣшительно повѣрить не можемъ, т.-е. не можемъ смотрѣть на нее, какъ на органическое стремленіе, вытекающее изъ самой природы кн. Андрея въ ея нормальномъ состояніи. Это стремленіе замкнуться въ эгоистическомъ существованіи для себя и своей семьи, имѣя цѣлью только спокойствіе совѣсти, этотъ родъ воздержанія отъ жизни, родъ *недѣланія*—стоитъ въ явномъ противорѣчій съ натурою кн. Андрея, съ основными чертами его характера, темперамента, склада ума. Оно не вяжется прежде всего съ особенностями его волевого уклада. Человѣкъ съ сильной волею, съ жаждой власти, съ даромъ авторитарности, человѣкъ, такъ импонирующій другимъ, такъ умѣющій подчинять себѣ людей, какъ Болконскій, могъ питать и высказывать этотъ эгоистическій, лично-нравственный идеалъ «жизни для себя» только въ состояніи ненормальномъ. Ненормальность для него подобныхъ стремленій обнаруживается имъ самимъ путемъ своего рода *reductio ad absurdum*, путемъ предъявленія крайняго вывода изъ развиваемыхъ имъ взглядовъ,—вывода, который оказывается очевидно-невозможнымъ: это именно то, что говоритъ кн. Андрей о своемъ будто-бы безповоротномъ рѣшеніи не принимать участія въ войнѣ,—а это рѣшеніе, очевидно, невозможно для Болконскаго уже потому, что непременно привело-бы къ «угрызеніямъ совѣсти», т.-е. тому «единственному» злу, о которомъ онъ только что говорилъ. На вопросъ Пьера: «отчего вы не служите въ арміи?»—кн. Андрей отвѣчаетъ: «Послѣ Аустерлица? Нѣтъ,

покорно благодарю, и далъ себѣ слово, что служить въ дѣйствующей русской арміи не буду. И не буду, ежели-бы Бонапарте стоялъ тутъ, у Смоленска, угрожая Лысымъ Горамъ,—и тогда бы я не сталъ служить въ русской арміи...»—Вотъ это и есть очевидное *reductio ad absurdum* второго душевнаго проявленія (б), которое, впрочемъ, и само по себѣ представляется наноснымъ и временнымъ. Если же это такъ, то и первое проявленіе (а,—презрѣніе и жестокое—на словахъ—отношеніе къ народу, утрированное барство, уже не какъ форма, а какъ содержаніе) должно быть признано таковымъ-же, ибо оба тѣсно связаны психологически, обнаруживаются и дѣйствуютъ вмѣстѣ, помогая другъ другу.

И въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, что дѣйствительное (фактическое) отношеніе кн. Андрея къ народу совсемъ не таково, какъ можно было бы ожидать по высказаннымъ имъ взглядамъ. Оказывается, что къ мужикамъ кн. Андрей относится такъ-же гуманно, просвѣщенно и филантропически, какъ и Пьеръ, только безъ его «мечтательности» и съ большимъ умѣніемъ провести на дѣлѣ задуманныя на пользу народа новшества. Въ теченіи своего двухлѣтняго угрюмаго затворничества въ деревнѣ, кн. Андрей осуществилъ цѣлый рядъ важныхъ и смѣлыхъ по тому времени мѣропріятій. «Всѣ тѣ предпріятія по имѣніямъ, которыя затѣялъ у себя Пьеръ и не довелъ ни до какого результата, безпрестанно переходя отъ одного дѣла къ другому, всѣ эти предпріятія, *безъ высказыванія ихъ кому бы то ни было* и безъ замѣтнаго труда, были исполнены княземъ Андреемъ. Онъ имѣлъ въ высшей степени ту недостававшую Пьеру практическую цѣлкость, которая, безъ размаховъ и усилій съ его стороны, давала движеніе дѣлу. *Одно имѣніе его въ триста душъ крестьянъ было перечислено въ волынскія хлѣбопашцы (это былъ одинъ изъ первыхъ примѣровъ въ Россіи), въ другихъ барщина замѣнена оброкомъ.* Въ Богучарово была выписана на его счетъ ученая бабка для помощи родильницамъ, и священникъ за жалованіе обучалъ дѣтей крестьянскихъ и дворовыхъ грамотѣ». (Ч. III-я, гл. I).

III.

Въ первыхъ трехъ главахъ III-й части этого (II-го) тома Толстой изображаетъ намъ съ обычнымъ мастерствомъ и на этотъ разъ съ примѣненіемъ психологическаго анализа процессъ постепеннаго возстановленія душевныхъ силъ князя Андрея. Рѣшительный поворотъ произошелъ во время поѣздки героя въ рязанскія имѣнія и оттуда къ Ростовымъ. Скорѣйшему возстановленію душевнаго равновѣсія содѣйствовали впечатлѣнія весны, картина пробуждающейся къ новой жизни природы и обаяніе женской натуры Наташи, этой жизнерадостной и страстной дѣвушки, полной заразительной жажды любви и счастья. Толстой слѣдитъ шагъ

за шагомъ за всѣми моментами душевнаго возрожденія своего героя,—и эти страницы стоятъ того, чтобы на нихъ остановиться. Дорогою, видъ стараго дуба, казалось, не возрождающагося къ новой жизни, словно ее отрицающаго, навѣялъ—по ассоціаціи представлений—на кн. Андрея рядъ все еще «безнадежныхъ», но уже не озлобленныхъ, не мрачныхъ, а «грустно-пріятныхъ» мыслей.—«Да, онъ правъ, тысячу разъ правъ этотъ дубъ—думалъ кн. Андрей:—пускай другіе, молодые, вновь поддаются на этотъ обманъ, а мы знаемъ жизнь,—наша жизнь кончена!» (гл. I). Онъ повидимому укрѣпляется въ прежней душевной позиціи, но въ глубинѣ души ледъ ужъ растаялъ, и нуженъ былъ только какой-нибудь толчекъ извнѣ, чтобы процессъ возстановленія душевныхъ силъ быстро пошелъ впередъ.

Подъѣзжая къ Отраденскому дому Ростовыхъ, Болконскій увидалъ бѣгущую наперерѣзъ его коляски толпу дѣвушекъ. Впереди другихъ ближе подбѣгала къ коляскѣ черноволосяя, очень тоненькая, странно-тоненькая, черноглазая дѣвушка...»—Рѣзкій контрастъ между этой эмблемой самолюбующей радости жизни и тѣмъ грустно-тихимъ состояніемъ духа, въ которомъ находился кн. Андрей, и которое уже не было летаргіею души, а было симптомомъ ея пробужденія,—этотъ контрастъ сразу отозвался въ душѣ князя Андрея: «ему вдругъ стало отчего-то больно». Эта боль была не что иное, какъ—уже не тихая,—а живая скорбь о томъ, что онъ ушелъ отъ жизни, отрекся отъ ея радостей, отъ все-завлекающихъ ея интересовъ и миражей, какъ-бы заживо похоронилъ себя,—а между тѣмъ эта жизнь, съ ея интересами, ея миражами, все-таки существуетъ и вѣчно будетъ существовать, дразня и маня куда-то вдаль, въ погоню за тѣмъ, что еще такъ недавно обезцѣнилось въ глазахъ кн. Андрея, теперь вотъ опять назойливо мелькаетъ передъ его умственнымъ взоромъ и шепчетъ неясныя рѣчи о счастьѣ, о любви, о стремленіяхъ, о трудѣ, о славѣ. Вотъ и сейчасъ *она* яркимъ метеоромъ промелькнуло передъ нимъ въ образѣ этой черноволосяй, «странно-тоненькой», точно молоденькое деревцо, дѣвушки, которая «такъ счастлива какою-то своею, отдѣльною, вѣрно глупою, но веселою и счастливою жизнью. «Чему она такъ рада, о чемъ она думаетъ?.. И чѣмъ она счастлива?—невольнo съ любопытствомъ спрашивалъ себя князь Андрей».

Въ теченіи скучнаго дня, проведеннаго у Ростовыхъ, кн. Андрей, «нѣсколько разъ взглядывая на Наташу, чему-то смѣявшуюся, веселившуюся между другою молодою половиною общества, все спрашивалъ себя: О чемъ она думаетъ? Чему она такъ рада?»

Эти мысли и вся ихъ боль съ новою силою овладѣли душою кн. Андрея, когда ночью онъ открылъ ставни, и «лунный свѣтъ, какъ будто онъ насторожѣ, у окна давно ждалъ этого, ворвался въ комнату. Онъ открылъ окно». Наверху, надъ его окномъ, слышны были женскіе голоса.

Наташа и Соня изъ окна своей комнаты любовались ночью и луной. Эти дѣвичьи голоса, восторги Наташи, споръ съ Соней, которая тащила ее спать, возня и борьба, пропѣтая музыкальная фраза—все это взволновало и разбудило дремлющую душу кн. Андрея наплывомъ тѣхъ-же мыслей, тѣхъ-же вопросовъ,—неясной формулой неясныхъ чувствъ. «И дѣла нѣтъ до моего существованія! думалъ онъ, и въ душѣ его вновь поднялась неожиданная путаница молодыхъ мыслей и надеждъ, противорѣчащихъ всей его жизни...» (гл. II).

На обратномъ пути кн. Андрей опять увидѣлъ тотъ дубъ, который тогда своимъ угрюмымъ видомъ такъ гармонировалъ съ его пессимистическимъ настроеніемъ. Теперь онъ, «весь преображенный, раскинувшись шатромъ сочной, темной зелени, млѣлъ, чуть колыхаясь въ лучахъ вечерняго солнца». При видѣ возрожденія стараго дуба, на кн. Андрея «нашло безпричинное, весеннее чувство радости и обновленія. — Нѣтъ, жизнь не кончена въ 31 годъ,—вдругъ окончательно, безперемѣнно рѣшилъ кн. Андрей».

И какъ человѣкъ мыслящій, съ большой склонностью къ рефлексіи, съ потребностью разобраться въ томъ, что происходитъ въ его душѣ, кн. Андрей вникаетъ и на этотъ разъ въ броженіе души своей и, анализируетъ его, подводитъ ему такой итогъ: «Мало того, что я знаю все то, что есть во мнѣ, надо, чтобъ и всѣ знали это: и Пьеръ, и эта дѣвочка... надо, чтобы всѣ знали меня, чтобы не для меня одного шла моя жизнь, чтобы не жили они такъ независимо отъ моей жизни, чтобы на всѣхъ она отражалась и чтобы всѣ они жили со мной вмѣстѣ!»

Такъ темное, стихійное, нелогическое броженіе возрастающей души кн. Андрея отразилось въ его сознаниі—тамъ, гдѣ верхній слой психики, называемый *мысляю*, организуется въ логическую, рациональную дѣятельность ума. Здѣсь, въ этой «свѣтлой» точкѣ, темныя движенія души переработались въ ясную формулу, которая, какъ вообще многія операціи сознательной мысли, приняла обличье извѣстной постановки и рѣшенія вопроса и вмѣстѣ съ тѣмъ должна была стать основаніемъ и движущимъ мотивомъ дальнѣйшаго движенія душевныхъ силъ. Но пока броженіе въ глубинѣ души все еще такъ смутно, такъ неопредѣлимо, такъ расплывчато,—и формула, ему отвѣчающая въ сознаниі, по необходимости остается общей, неопредѣленной, непріуроченной и не приспособленной къ практическому рѣшенію задачи. Она гласитъ: хочу жить! Жить—вообще, вмѣстѣ съ другими, такъ чтобы другіе раздѣляли мою жизнь, а я—ихъ жизнь. Но какъ именно жить, что дѣлать, къ чему стремиться, въ какихъ отношеніяхъ другіе должны раздѣлять жизнь кн. Андрея и т. д.—всѣ эти вопросы остаются пока невыясненными и нерѣшенными. Но толчокъ данъ, мысль уже движется въ извѣстномъ направленіи и въ свое время придетъ къ постановкѣ и рѣшенію этихъ практическихъ задачъ.

Въ видахъ объясненія сложной природы кн. Андрея, мы—въ связи съ разбираемымъ здѣсь его душевнымъ состояніемъ—поставимъ вопросъ, который можно формулировать такъ: будутъ-ли тѣ рѣшенія, тѣ практическіе выводы, къ которымъ онъ придетъ, прямымъ продуктомъ начавшейся сознательной работы мысли—безъ видимаго или сколько-нибудь значительнаго участія нелогическихъ душевныхъ состояній, или-же этимъ-то послѣднимъ и впродъ, когда уже уляжется броженіе его души, будетъ принадлежать львиная доля въ постановкѣ, въ направленіи, въ рѣшеніи его жизненныхъ задачъ? Если судить по симптомамъ, которые обнаруживались во время вышеописаннаго кризиса, то придется сказать, что у князя Андрея сфера сознательной, логической мысли находится въ тѣсной зависимости отъ той, которую я называю нелогической, иррациональной—отъ сферы чувствъ, настроеній, темныхъ броженій души; онъ развивалъ и высказывалъ тогда мысли—какъ-бы не свои, не своего ума, а внушенные переживавшимся имъ настроеніемъ. Правда, онъ находился тогда въ состояніи ненормальномъ. Посмотримъ-же, каково соотношеніе у него этихъ двухъ сферъ, рациональной и иррациональной, во-первыхъ, въ періодъ возстановленія его душевнаго равновѣсія, и во-вторыхъ, въ нормальномъ состояніи. Что касается перваго, то Толстой въ гл. III-й дастъ намъ ясныя указанія, намѣчаетъ симптомы, по которымъ мы можемъ заключить, что въ этотъ періодъ, какъ и во время «кризиса», умъ кн. Андрея, работая съ лихорадочной напряженностью, находился подъ давленіемъ и внушеніемъ того, что происходило въ нелогической сферѣ. Тамъ броженіе идетъ crescendo, и все сильнѣе разгорается пламя неясныхъ чувствъ, непонятныхъ смущеній, тайной тревоги; это броженіе, не поддающееся логическому учету, скорѣе могло-бы (будь кн. Андрей натура художественная) найти себѣ исходъ въ поэтическихъ образахъ, примѣрно—на мотивъ Огарева:

Чего хочу, чего? О, такъ желаній много,
Такъ къ выходу ихъ силъ нуженъ путь.
Что кажется порой, ихъ внутренней тревогой
Сожжется мозгъ, и разорвется грудь!..

Но князь Андрей—не поэтъ. Онъ человѣкъ анализа, логическихъ привычекъ и вкусовъ мысли. Онъ также человѣкъ пракческаго дѣла. Оттого это броженіе разрѣшается у него напряженной работой самоанализа, попытками уяснить себѣ практической вопросъ: «что дѣлать?» и соответственными волевыми актами. Въ результатѣ получается практическое рѣшеніе ѣхать въ Петербургъ и искать тамъ дѣятельности, подходящей къ его идеямъ и стремленіямъ. «Цѣлый рядъ *разумныхъ, логическихъ* доводовъ, почему ему необходимо ѣхать въ Петербургъ и даже служить, ежеминутно былъ готовъ къ его услугамъ... Ему казалось ясно, что всѣ его опыты жизни должны были пропасть даромъ и быть безсмы-

слицей, ежели-бы онъ не *приложилъ ихъ къ дѣлу* и не принялъ опять *дѣятельнаго участія въ жизни*. Въ такой постановкѣ вопроса и сказала основная черта натуры кн. Андрея—его какъ-бы органическое стремленіе осуществить свою *общественную стоимость*, выразиться въ общественной жизни, какъ опредѣленная *величина*, какъ *сила*. Но уже тутъ мы догадываемся, а въ дальнѣйшемъ окончательно убѣдимся, что эта основная черта не есть единственная и задающая всему тонъ въ натурѣ кн. Андрея, что рядомъ съ нею столь-же властно звучатъ и другія струны, мѣшающія кн. Андрею быть законченнымъ типомъ общественнаго дѣятеля по преимуществу и по призванію. Для Пьера Безухова въ его стремленіяхъ къ *дѣлу*, къ работѣ для общаго блага, помимо разныхъ другихъ свойствъ его натуры, напр. слабости воли, является въ извѣстномъ смыслѣ помѣхою его склонность къ «мечтательному философствованію». Для Андрея Болконскаго, столь приспособленнаго, казалось, по основнымъ чертамъ натуры, къ общественной дѣятельности, помѣхою служить нѣчто другое, нѣкоторый «иксъ», который намъ предстоитъ опредѣлить. Мы подойдемъ къ этому опредѣленію довольно близко нѣсколько ниже, разбирая отношенія кн. Андрея къ Сперанскому. Пока замѣтимъ тотъ фактъ, что, несмотря на принятое рѣшеніе, онъ все еще продолжалъ «переживать тѣ *неразумныя*, невыразимыя словомъ, тайныя какъ преступленіе мысли, связанныя съ Пьеромъ, съ славой, съ дѣвушкой на огнѣ, съ дубомъ, съ женскою красотою и любовью, которыя измѣнили всю его жизнь». Неопредѣленные, тайныя соблазны жизни, для которыхъ во время поѣздки раскрылась его душа, становятся теперь не то что ясны, а настойчивѣе,—и эта смута души, эта накипь хотѣній грозитъ отразиться въ сознаніи какимъ-то новымъ содержаніемъ, которое не уложится въ уже найденную формулу и станетъ новымъ вопросомъ. «Формула» (Петербургъ, служба, дѣятельность), поддержанная разсудкомъ и основной чертою натуры кн. Андрея, въ свою очередь сопротивляется натиску осложняющихъ элементовъ. Логическія привычки мысли и рационалистическій складъ ума кн. Андрея съ своей стороны не хотятъ примириться съ самымъ фактомъ возникновенія всѣхъ этихъ запросовъ нелогической, иррациональной сферы. Возникаетъ внутренній разладъ, возгорается борьба между двумя сферами души,—и вотъ «въ эти-то минуты» борьбы, «когда кто-нибудь входилъ къ нему, онъ бывалъ особенно сухъ, строго-рѣшителенъ и въ особенности *непріятно-логиченъ*... Онъ говорилъ (напр. съ княжной Марьей) съ особенною *логичностью*, какъ-бы *наказывая кого-то за всю эту тайную, нелогичную, происходившую въ немъ, внутреннюю работу*». «Княжна Марья думала въ этихъ случаяхъ о томъ, какъ сушить мужчинъ эта умственная работа» (гл. III).

IV.

Осенью князь Андрей переѣзжаетъ въ Петербургъ, гдѣ онъ съ обновленными силами принимается за дѣло, ища удовлетворенія своей жадности дѣятельности на общую пользу и мечтая о видной роли въ обновлявшейся тогда государственной жизни Россіи. Во главѣ передового движенія стоялъ знаменитый Сперанскій. Князь Андрей, конечно, становится въ ряды сторонниковъ этого государственнаго дѣятеля. Главы IV—VI (III-я часть II-го тома), рассказывающія о жизни и дѣятельности (или, лучше, попыткахъ дѣятельности) молодого Болконскаго въ Петербургѣ и объ отношеніяхъ его къ Сперанскому, принадлежатъ къ любопытнѣйшимъ мѣстамъ «Войны и Мира» и являются весьма характерными для Толстого, какъ мыслителя, который уже тогда стоялъ—по нѣкоторымъ вопросамъ—на тѣхъ же точкахъ зрѣнія, дальнѣйшее развитіе которыхъ дало крайнюю тенденцію произведеній послѣдняго періода. Толстой явно не жалуется Сперанскаго, хотя, конечно, не можетъ отказать ему въ своеобразномъ и выдающемся умѣ, энергіи и благихъ намѣреніяхъ. Но самый родъ умовъ и натуръ, къ которому Толстой причисляетъ Сперанскаго, глубоко антипатиченъ автору «Войны и Мира». Это именно тотъ холодный, разсудочный, силлогистическій умъ, который въ своей дѣятельности опирается на несокрушимую, но, какъ думаетъ Толстой, ни на чемъ не основанную вѣру въ непогрѣшимость разума. Это—натура схоластика или прямолинейнаго рационалиста, въ душѣ котораго нѣтъ созвучныхъ струнъ для пониманія не поддающихся разсудочному учету иррациональныхъ силъ духа и жизни человѣческой¹⁾. «Вообще (читаемъ въ гл. VI-ой) главная черта ума Сперанскаго, поразившая кн. Андрея, была несомнѣнная, непоколебимая вѣра въ силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прийти въ голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнѣніе въ томъ, что не вздоръ ли все то, что я думаю, и все то, во что я вѣрю?»—Въ этихъ словахъ уже данъ намекъ на коренное различіе между натурою Сперанскаго и натурою кн. Андрея. Оба—люди сильной воли, практическаго склада, оба призваны къ общественной роли. Оба—люди мыслящіе, съ большимъ умомъ, развитымъ широкимъ образованіемъ и воспитаннымъ въ духѣ рационалистической философіи прошлаго вѣка. Но на этомъ и прекращается сходство. Огромное различіе между ними сводится къ

¹⁾ Само собой разумѣется, я здѣсь характеризую Сперанскаго съ точки зрѣнія Толстого, оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, правъ-ли, или неправъ Толстой въ оцѣнкѣ этого выдающагося государственнаго чловека. Для нашей задачи важнее не подлинный Сперанскій, а то, какъ понялъ его Толстой.

тому, что у Сперанскаго (опять-таки—въ изображеніи Толстого) ирраціональная сфера души какъ-бы отдѣлена китайской стѣной отъ его ума, дѣйствующаго независимо отъ этой сферы, между тѣмъ какъ у Болконскаго именно въ послѣдней и сосредоточены могущественные импульсы, всегда вліяющіе на его умъ и опредѣляющіе то или другое направленіе его мысли. При этомъ наблюдается слѣдующее любопытное психологическое явленіе. Казалось бы, при независимости ума отъ ирраціональной сферы, отъ чувствъ, страстей, разныхъ стихійныхъ влеченій и броженій духа, у Сперанскаго, какъ онъ понять и нарисовать Толстымъ, мы должны были бы встрѣтить большую свободу мысли, широту воззрѣнія, глубину пониманія вещей (хоть бы только въ сферѣ его дѣятельности, въ вопросахъ государственныхъ, въ вопросахъ реформъ, внутренней политики). Но этого-то мы и не видимъ, т. е. Толстой нарочито представляетъ намъ Сперанскаго человѣкомъ узкимъ, доктринеромъ. Мало того, эту узкость и доктринерство Толстой видимо приводитъ въ связь съ указанной независимостью ума Сперанскаго отъ его ирраціональной сферы. А эта независимость, въ свою очередь, обусловлена—по мысли Толстого—тѣмъ, что натура Сперанскаго неглубока и несложна, что въ его ирраціональной сферѣ нѣтъ тѣхъ живыхъ силъ, дѣйствіе которыхъ порою можетъ нарушать бозоблачность мысли, но зато даетъ широкую основу для ея творческой дѣятельности, или—лучше сказать—доставляетъ уму своего рода питаніе въ формѣ живыхъ чувствъ, отзывчивости на разнообразныя импульсы извиѣ, воспримчивости къ тонкимъ оттѣнкамъ духовной жизни, чутья дѣйствительности. Такой человѣкъ, въ сферѣ науки или философіи становится отрѣшеннымъ отъ жизни схоластикомъ, въ сферѣ практической дѣятельности—доктринеромъ и «бюрократомъ». Весьма возможно, что въ дѣйствительности Сперанскій (если не ошибаюсь,—лицо, не вполне еще выясненное историками) не принадлежалъ къ этому типу, и Толстой въ данномъ случаѣ прегрѣшилъ передъ фактической истиной. Какъ бы то ни было, но въ фигурѣ Сперанскаго Толстой изобразилъ намъ російскую бюрократическую разновидность того общеевропейскаго типа государственнаго дѣятеля—раціоналиста и доктринера, который въ прошломъ вѣкѣ былъ весьма распространенъ. Этотъ типъ глубоко антипатиченъ Толстому, твердо стоящему, какъ извѣстно, на той точкѣ зрѣнія, что жизнь людей, обществъ, государствъ и народовъ слагается и течетъ по своимъ таинственнымъ законамъ, столь-же ирраціональнымъ и столь-же независимымъ отъ воли человѣка, какъ и законы природы. Смѣшонъ и жалокъ былъ бы тотъ естествоиспытатель схоластикъ, который возымѣлъ бы дерзновенную мысль *предписывать* природѣ законы, выводя ихъ изъ собственного разума, изъ апріорныхъ и произвольныхъ общихъ положеній. Въ такомъ именно свѣтѣ и являются дѣятели-доктринеры XVIII-го вѣка, полагавшіе воз-

можнымъ искусственно урегулировать и исправить жизнь народовъ, подгоняя ее подъ общія нормы, выведенныя разсудочнымъ путемъ изъ общихъ теоретическихъ посылокъ, даже изъ «общихъ мѣстъ»¹⁾.—Эта точка зрѣнія и соотвѣтственная ей концепція Сперанскаго наглядно проявляются во всемъ, что говоритъ Толстой объ умѣ, о натурѣ, даже внѣшности и манерахъ знаменитаго государственнаго человѣка, о томъ впечатлѣніи, которое онъ произвелъ на кн. Андрея, и въ особенности—въ изображеніи того, какъ и почему послѣдній въ концѣ концовъ разочаровался въ Сперанскомъ и пересталъ вѣрить въ плодотворность его дѣятельности.—Изъ сопоставленія натуры кн. Андрея съ натурою Сперанскаго съ особливою очевидностью обнаруживается, что, въ противоположность Сперанскому, у кн. Андрея диапазонъ ирраціональной сферы весьма значителенъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ всегда на лицо давленіе этой сферы на мысль, и что, сообразно этому, изъ князя Андрея никогда не могъ выйти дѣятель-доктринеръ, реформаторъ-бюрократъ.

Прослѣдимъ съ нѣкоторыми подробностями отношенія кн. Андрея къ Сперанскому.

На первыхъ порахъ онъ былъ прямо очарованъ Сперанскимъ. И вотъ здѣсь-то, между прочимъ, мы и находимъ одно изъ бьющихъ въ глаза доказательствъ того, что кн. Андрей вовсе не пустой «аристократикъ», только умѣющій щуриться въ салонахъ и диллетантски ко всему относящійся. Его несомнѣнный аристократизмъ и родовая гордость отнюдь не внушаютъ ему, какъ внушали многимъ, презрительнаго и недоброжелательнаго чувства къ «рагвену» Сперанскому, «кутейнику» и «пововичу». Напротивъ, кн. Андрей, нисколько не смущаясь происхожденіемъ Сперанскаго и безконечно далекаго отъ мелкихъ чувствъ по отношенію къ нему, обнаруживаетъ то восторженное обожаніе и поклоненіе, которыя такъ свойственны натурамъ высшаго порядка, ищущимъ своего «идеала». «Кн. Андрей (читаемъ въ гл. VI-ой) такое огромное количество людей считалъ презрѣнными и ничтожными существами, *такъ ему хотѣлось найти въ другомъ живой идеалъ того совершенства*, къ которому онъ стремился, что онъ легко повѣрилъ, что въ Сперанскомъ онъ нашелъ этотъ идеалъ разумнаго и добродѣтельнаго человѣка». Здѣсь-же Толстой мимоходомъ указываетъ другую любопытную черту изъ психологическихъ отношеній кн. Андрея къ Сперанскому: «ежели-бы Сперанскій былъ изъ того-же общества, изъ котораго былъ князь Андрей, того-же вос-

¹⁾ Я лично склоненъ думать, что этотъ взглядъ на дѣятелей вѣка просвѣщенія и революціи, развитый такъ блестятельно Тэнномъ, не чуждъ преувеличенія. Допуская даже, что въ теоріи они всегда оставались доктринерами, мы въ правѣ думать, что на практикѣ они могли встать въ противорѣчіе съ своимъ теоріями и дѣйствовать руководясь чутвемъ дѣйствительности, повинаясь давленію этой самой дѣйствительности, наконецъ—подъ импульсомъ страстей.

питанія и нравственныхъ привычекъ, то Болконскій скоро-бы нашель его слабыя, человѣческія, не геройскія стороны, но теперь *этотъ странный для него логическій складъ ума тѣмъ болѣе внушалъ ему уваженія, что онъ не вполне понималъ его*. Отсюда, между прочимъ, мы видимъ, что кн. Андрей далеко не рабъ своей сословной формы; что принадлежность къ аристократіи крови и великосвѣтское воспитаніе ничуть не мѣшаютъ ему быть человѣкомъ внутренне-свободнымъ. — Отношеніе въ этотъ періодъ молодого аристократа къ полновластному «поповичу» и «семинаристу» кратко опредѣляются словами: «онъ видѣлъ въ немъ разумнаго, строгомыслящаго, огромнаго ума человѣка, энергіей и упорствомъ достигшаго власти и употребляющаго ее только для блага Россіи»¹⁾ (гл. VI).

Князь Андрей вошелъ въ лабиринтъ дѣловой петербургской жизни, — онъ сталъ въ ряды передовой (либеральной) партіи, предводимой Сперанскимъ, и былъ, казалось, на пути къ своимъ завѣтнымъ дѣламъ, къ осуществленію своихъ честолюбивыхъ мечтаній. Но уже заблаговременно Толстой даетъ намъ понять, что лихорадочная дѣятельность, которая захватила его героя, была въ сущности призрачной, и что вскорѣ онъ неминуемо долженъ былъ въ ней разочароваться. «Механизмъ жизни (читаемъ въ гл. VI), распоряженіе дня такое, чтобы вездѣ поспѣть вовремя, отнимали большую долю самой энергіи жизни. Онъ (князь Андрей) ничего не дѣлалъ, ни о чемъ даже не думалъ и не успѣвалъ думать, а только говорилъ, и съ успѣхомъ говорилъ, то, что онъ успѣлъ прежде обдумать въ деревнѣ». И кн. Андрей все глубже входилъ въ этотъ «механизмъ» петербургской жизни, и не успѣлъ онъ, какъ говорится, оглянуться, какъ уже, благодаря Сперанскому, очутился во главѣ какой-то «комиссіи» и уже составляетъ «Права людей» по кодексамъ Наполеона и Юстиніана, воображая, что отъ этой бумажной работы русскіе люди въ самомъ дѣлѣ станутъ обладателями «правъ». Но червь сомнѣнія вскорѣ зашевелился въ немъ. Въ гл. XVIII-ой (той-же II-ой части II-го тома) рассказано, какъ нѣкій Бицкій, «служившій въ различныхъ комиссіяхъ», «одинъ изъ тѣхъ людей, которые выбираютъ направленіе, какъ платье — по модѣ, но которые поэтому-то кажутся самыми горячими партизанами направлений», — захлебываясь отъ дѣланнаго восторга, сообщилъ князю Андрею важную политическую новость, составляющую, по его словамъ, «величайшую эру въ нашей исторіи». «Эра» проявилась въ томъ, что государь сказалъ, что «совѣтъ и сенатъ суть государственныя *сословія*» и что «правленіе должно имѣть основаніемъ не произволъ, а *твердыя на-*

¹⁾ Любопытно отмѣтить, что кн. Андрей, этотъ гордый, независимый, чуждый всякой робости, самоувѣренный человѣкъ, смутился при первой встрѣчѣ со Сперанскимъ: «... въ душѣ его что-то дрогнуло, какъ это бываетъ въ важныя минуты жизни. Было-ли это уваженіе, зависть, ожиданіе — онъ не зналъ». (Гл. V).

чала», а «финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны». Князь Андрей слушалъ и только удивлялся тому, что все это «не только не трогало его, но представлялось болѣе чѣмъ ничтожнымъ». И «самая простая мысль приходила ему въ голову: какое дѣло мнѣ и Бицкому, какое дѣло намъ до того, что государю угодно было сказать въ совѣтѣ? Развѣ все это можетъ сдѣлать меня счастливѣе и лучше?» — Слѣдующее за симъ описаніе раута у Сперанскаго, гдѣ присутствовалъ и Болконскій, доводитъ до конца изображеніе этого переворота въ отношеніяхъ кн. Андрея къ знаменитому государственному человѣку и всей партіи прогресса. И самъ государственный человѣкъ, и его сподвижники (въ числѣ которыхъ, кромѣ разныхъ Бицкихъ, былъ напр. и столь печально-извѣстный впоследствии обскурантъ и ретроградъ Магницкій) показались кн. Андрею смѣшными и мелкими. Въ Сперанскомъ, въ его рѣчахъ, жестахъ, манерахъ ему все представляется теперь почти фальшивымъ. Прощаясь съ нимъ, «кн. Андрей смотрѣлъ близко въ эти зеркальные, непронускающіе къ себѣ глаза, и ему стало смѣшно, какъ онъ могъ ждать чего-нибудь отъ Сперанскаго и отъ всей дѣятельности, связанной съ нимъ, и какъ могъ онъ приписывать важность тому, что дѣлалъ Сперанскій».

Здѣсь съ необыкновенной мѣткостью схвачено слѣдующее явленіе, но опыту извѣстное всякому, кому приходилось разочаровываться въ людяхъ. Вы знали человѣка въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ и имѣли основанія считать его величиною положительной. Вы его идеализировали, и у васъ годами создалось извѣстное, какъ вамъ казалось, вполне обоснованное и согласное съ дѣйствительностью, представленіе о немъ и вдругъ въ нѣсколько минутъ это субъективное построеніе рушится, — пелена спадаетъ съ глазъ, — и вамъ остается только удивляться собственной слѣпотѣ.

Само собой разумѣется, крушеніе идеализированнаго образа подготовлялось постепенно; но вы не замѣчали этой подготовки или не придавали особеннаго значенія тѣмъ частичнымъ уцербамъ, которымъ онъ подвергался. Вамъ казалось, что представленіе всетаки останется нерушимымъ — *quand même*; недаромъ создалось оно годами. И вотъ оно все еще держится — опираясь на внутреннее довѣріе, на интимное убѣжденіе въ томъ, что оно — не иллюзія. Его крушеніе неминуемо восполняется въ ту минуту, когда вдругъ это убѣжденіе потухнетъ, когда, въ силу какого-нибудь, повидимому, мелкаго наблюденія, случайно подвернувшейся чертѣ, процессъ разрушенія довершится однимъ рѣшительнымъ душевнымъ движеніемъ, моментально создающимъ полную увѣренность въ *иллюзорности* идеализированнаго представленія. И чѣмъ больше держалась иллюзія, тѣмъ рѣшительнѣе будетъ ея паденіе, и тѣмъ невозможнѣе возвращеніе къ ней. Предшествующіе годы являются теперь отрицательной величиною, и чѣмъ ихъ было больше, тѣмъ хуже для развѣнчаннаго

представленія о человѣкѣ. Если идеализація была недолговременной (напр. длилась не годы, а мѣсяцы), эту роль времени съ успѣхомъ можетъ сыграть сила (интензивность) идеализаціи: чѣмъ сильнѣе идеализировалъ кн. Андрей Сперанскаго, чѣмъ больше ожидалъ отъ него, чѣмъ больше вѣрилъ въ его значеніе и призваніе, тѣмъ рѣшительнѣе и безповоротнѣе будетъ разочарованіе.

Такъ въ душѣ князя Андрея разрушился идеализированный образъ Сперанскаго,—и съ тѣмъ вмѣстѣ разсѣялись его иллюзіи относительно возможности плодотворной прогрессивной дѣятельности въ сферѣ петербургскаго бюрократизма и придворныхъ партій. Вернувшись съ раута домой, онъ сталъ провѣрять всю свою жизнь въ Петербургѣ, свою дѣятельность въ комиссіяхъ, въ засѣданіяхъ, гдѣ много говорилось о формѣ и мало о сущности дѣла и т. д.,—и полное разочарованіе овладѣло имъ. «Онъ вспомнилъ о своей законодательной работѣ, о томъ, какъ онъ озабочено переводилъ на русскій языкъ статьи римскаго и французскаго свода, и ему стало совѣстно за себя. Потомъ онъ живо представилъ себѣ Богучарово, свои занятія въ деревнѣ, свою поѣздку въ Рязань, вспомнилъ мужиковъ, Дрона-старосту, и, приложивъ къ нимъ права лицъ, которыя онъ распредѣлялъ по параграфамъ, ему стало удивительно, какъ онъ могъ такъ долго заниматься такою праздною работою». (Гл. XVIII).

Я не разъ уже указывалъ на призваніе къ практическому живому дѣлу (въ смыслѣ общественномъ и государственномъ), какъ на одну изъ основныхъ чертъ натуры князя Андрея. И вотъ, однако, оказывается, что для дѣятельности въ рядахъ передовой партіи, въ сотрудничествѣ съ Сперанскимъ, въ блестящее время царствованія Александра I, столь богатое многообѣщавшими начинаніями, князь Андрей рѣшительно не пригоденъ. Онъ съ жаромъ принялся за работу въ этой сферѣ, но скоро охладѣлъ, разочаровался и бросилъ ее. Мы знаемъ, что кн. Андрей даровитъ, трудолюбивъ, упоренъ въ преслѣдованіи поставленныхъ цѣлей, обладаетъ большою силой воли. Неужели-же не могъ онъ найти—въ эту эпоху—приложенія своимъ силамъ и дарованіямъ? Онъ разочаровался въ Сперанскомъ, но вѣдь онъ могъ пойти своей дорогой, могъ даже создать свою партію.

Вся натура кн. Андрея, какъ задумана она Толстымъ, такова, что для *такой* дѣятельности онъ не годится. И въ особенности, двѣ черты, органически-тѣсно связанныя съ его натурою, являются рѣшительнымъ, непреодолимымъ препятствіемъ, дѣлающимъ невозможнымъ приспособленіе кн. Андрея къ той сферѣ, гдѣ онъ долженъ былъ дѣйствовать. Это, во-первыхъ, его органическая потребность *вприти* въ то дѣло, которому онъ служить, и въ плодотворность своей работы для него. Князь Андрей—изъ числа тѣхъ, которые безъ этой вѣры не могутъ работать.

Мы видѣли, что эту вѣру онъ потерялъ.—Другая черта, это—его прямолинейность и неспособность къ компромиссамъ. *Князь Андрей мнитъ всего отпортионистъ*. Да и могъ-ли онъ, при его нескрываемомъ презрѣніи къ людямъ душевно-мелкимъ и пошлымъ, дѣйствовать объ руку съ Бизцкими и Магницкими?

Само собой разумѣется, встрѣча въ Петербургѣ съ Наташей Ростовой, быстро-развившееся чувство къ ней, обаяніе перспективы возможнаго личнаго счастья и наконецъ жажда жизни, богатой новыми захватывающими впечатлѣніями—ускорили и безъ того неизбежный разрывъ Андрея съ бюрократической сферою и партіей реформъ.—«Изъ чего я бьюсь, изъ чего хлопочу въ этой узкой, замкнутой рамкѣ, когда жизнь, вся жизнь со всѣми ея радостями открыта мнѣ?»—говорилъ онъ себѣ, думая о Наташѣ,—и сталъ строить «счастливые планы на будущее».—«Мнѣ надо пользоваться своею свободой, пока такъ много въ себѣ чувствую силы и молодости...» (гл. XIX).

V.

Переходимъ къ III-му тому. Здѣсь кн. Андрей показанъ намъ въ иномъ освѣщеніи, въ новой роли. Послѣ постигшаго его удара (измѣна невѣсты) онъ ожесточился и снова замкнулся въ себѣ, но этотъ второй душевный кризисъ далеко не походилъ на первый. Теперь онъ не ищетъ забвенія въ одиночествѣ,—онъ его ищетъ въ кипучей дѣятельности; не безотрадно-горькія думы наполняютъ его душу,—онъ теперь во власти иного настроенія, въ которомъ видную роль играетъ злое чувство мести. Ему страстно хотѣлось встрѣтить, наконецъ, Курагина и дать волю накопившемуся запасу злобы. Всюду и постоянно отравляло его «сознаніе, что оскорбленіе еще не вымещено, что злоба не излита, а лежитъ на сердцѣ» (т. III, ч. I, гл. VIII). Онъ легко и по малѣйшему поводу раздражался, и однимъ изъ послѣдствій такого желчнаго состоянія была ссора съ отцомъ, рассказанная въ гл. VIII-ой. Не трудно видѣть, что въ другое время онъ былъ-бы сдержаннѣе со старикомъ, котораго онъ любилъ и чтилъ (это и была первая ссора съ нимъ), и съумѣлъ-бы своимъ тактичнымъ вмѣшательствомъ уладить возникшія недоразумѣнія въ домѣ стараго князя.

Та дѣятельность, которой съ удвоенной энергіей онъ предается теперь, ища въ ней забвенія, съ психологической стороны рѣзко, можно сказать—принципально отличается отъ его прежней дѣятельности, какъ на войнѣ, такъ и въ бюрократіи. Тогда онъ мечталъ о широкихъ планахъ, о подвигахъ, о славѣ,—теперь этой перспективы ужъ нѣтъ у него; его дѣло скромнѣе и проще,—онъ взялся за черную работу усерднаго и добросовѣстнаго исполнителя, да еще—за дѣло умнаго и прони-

пательнаго *наблюдателя* людей и вещей.—«Его интересовали теперь только самые ближайшіе (читаемъ въ гл. VIII-ой), не связанные съ прежними практическіе интересы, за которые онъ ухватывался съ тѣмъ большею жадностью, чѣмъ закрытіе были отъ него прежніе. Какъ будто тотъ безконечный, удаляющійся сводъ неба, стоявшій прежде надъ нимъ, вдругъ превратился въ низкій, опредѣленный, давившій его сводъ, въ которомъ все было ясно, но ничего не было вѣчнаго и таинственнаго».—При такомъ направленіи лучшихъ силъ его ума и чувства, при такомъ *дѣловомъ* унастроеніи, кн. Андрей и явился тѣмъ лицомъ въ эпопеѣ, которому Толстой могъ, съ увѣренностью въ точномъ и удачномъ исполненіи, вѣрить роль наблюдателя и критика того, что происходитъ вокругъ,—событій, лицъ, характеровъ, партій. Въ этой именно роли и выступаетъ кн. Андрей въ главахъ IX—XI первой части этого (III-го) тома ¹⁾. Все, что мы читаемъ здѣсь, сказано въ одно и то же время и отъ лица автора, и отъ лица кн. Андрея. Оцѣнка лицъ и партій ведется здѣсь собственно отъ имени автора, но тутъ же указывается, что все это такъ наблюдалъ кн. Андрей. Наконецъ, излюбленные мысли Л. Н. Толстого о войнѣ, о томъ, что не можетъ быть военной науки и военнаго генія, прямо приписаны кн. Андрею (за что послѣднему заодно съ Л. Н. Толстымъ такъ досталось отъ ген. Драгомирова).

И, конечно, Толстой могъ смѣло поручить это дѣло Болконскому: и по уму, и по образованію, и по серьезности своего отношенія къ жизни, и по высотѣ своихъ требованій отъ людей и партій,—это былъ отличный наблюдатель-критикъ,—въ особенности въ этотъ періодъ, когда честолюбивыя стремленія перебродили въ немъ, и онъ былъ внѣ искушенія вмѣшаться въ борьбу партій, стать членомъ одной изъ нихъ и въ силу этого потерять вѣрность взгляда и независимость сужденія. Мѣткія характеристики людей и партій, данныя здѣсь Толстымъ, легко могли быть сдѣланы въ свое время кн. Андреемъ.

Глава XI-ая оканчивается указаніемъ, важнымъ для характеристики нашего героя. Когда государь, милостиво отнесшійся къ Болконскому, спросилъ его: «гдѣ онъ желаетъ служить»,—кн. Андрей «не попросилъ остаться при особѣ государя, а попросилъ позволенія служить въ арміи», чѣмъ «навѣки потерялъ себя въ придворномъ мірѣ».

Чѣмъ дальше, тѣмъ все больше кн. Андрей входитъ въ только-что указанную роль выразителя мыслей самого Толстого. Въ уже цитированномъ (въ предыдущей главѣ—о Кутузовѣ) мѣстѣ (т. III, ч. II, гл. XVI) онъ, съ точки зрѣнія автора, даетъ оцѣнку Кутузова. Здѣсь-же на пред-

¹⁾ Дѣйствіе происходитъ въ главной квартирѣ на берегу Дрпессы, гдѣ находится и государь. Болконскій, прикомандированный къ главнокомандующему Барклаю-де-Толли, привязываетъ сюда послѣ ссоры съ отцемъ, руководимый между прочимъ стремленіемъ встрѣтить здѣсь Курагина.

ложеніе Кутузова остаться при немъ въ штабѣ, Болконскій отвѣчаетъ такъ: «Благодарю вашу свѣтлость, но я боюсь, что не гоюсь больше для штабовъ...»—говоритъ онъ и остается въ полку, въ строю, напутствуемый словами стараго фельдмаршала: «Иди съ Богомъ своею дорогою. Я знаю, твоя дорога—это дорога чести».

Этими словами отлично опредѣляется одна изъ самыхъ важныхъ сторонъ душевнаго склада кн. Андрея. Ей принадлежитъ исключительное значеніе въ томъ смыслѣ, что она замѣтно и постоянно влечетъ на другія стороны и даже является тѣмъ душевнымъ цементомъ, которымъ онѣ связываются въ одно компактное и согласное цѣлое.

Въ самомъ дѣлѣ, разсматривая эти другія стороны, мы убѣждаемся, что, безъ «категорическаго императива» *чести*, онѣ, въ силу своихъ естественныхъ тенденцій, могли-бы привести психику кн. Андрея къ извѣстной дезорганизаціи и къ упадку. Дѣло въ томъ, что Болконскій будучи по призванію человекомъ практическаго дѣла, въ то-же время въ высокой степени надѣленъ *истинно-гамлетовскими* чертами, способными парализовать его энергію. Онъ легко поддается рефлексіи. Человѣкъ съ выдающимся умомъ, съ обширнымъ образованіемъ, съ вѣчно-работающей головой, кн. Андрей не принадлежитъ къ числу тѣхъ представителей *наивной* мысли, которые, не мудрствуя лукаво, берутъ вещи такъ, какъ онѣ есть, и кругозоръ которыхъ ограниченъ видимымъ горизонтомъ, обрамляющимъ ту жизнь, ту среду, тѣ условія, тѣ ближайшія цѣли борьбы и дѣятельности, въ предѣлахъ и въ виду которыхъ эти люди живутъ, трудятся, стремятся, борются, хлопочутъ. Для кн. Андрея всегда на-сторожѣ минуты, когда горизонтъ вдругъ широко раздвигается, уходитъ вдаль, когда взвивается завѣса, за которою таится возможность, а иногда и неминуемость иной точки зрѣнія на вещи, иной постановки вопросовъ. Его умъ осаждаютъ все чаще мысли, отрѣшенные отъ текущихъ интересовъ созерцанія, почти всегда принимающія у него форму ѣдкой критики явленій окружающей дѣйствительности и нескрываемаго презрѣнія къ ней. Это—не спокойныя созерцанія мыслителя, это то, характерное для Гамлета, вторженіе нѣкоторыхъ высшихъ точекъ зрѣнія въ самую практику жизни, вторженіе, которое неизбежно превращаетъ каждый болѣе значительный волевой актъ въ психологическій вопросъ, преимущественно нравственнаго порядка. Не трудно видѣть, что, если, несмотря на эти гамлетовскія черты, кн. Андрей не теряетъ душевной энергіи, не обнаруживаетъ колебаній и сомнѣній, остается на своемъ посту, идетъ своей дорогой,—то этимъ онъ обязанъ прежде всего столь сильно-выраженному у него категорическому императиву *чести*.

Своеобразное сочетаніе различныхъ, иногда взаимно-противорѣчивыхъ душевныхъ тенденцій въ психикѣ Болконскаго и фактъ ихъ скрѣп-

ленія въ одно цѣлое силою императива чести ярко обнаружены въ гл. XXIV-й и XXV-й той-же III-й части III-го тома.

Кн. Андрей размышляетъ о предстоящемъ рѣшительномъ сраженіи, о возможности смерти. Это предстоящее сраженіе было не какое нибудь иное, а *Бородинское*, и минута была историческая,—въ ней былъ завязанъ узелъ цѣлой эпохи европейской исторіи. Въ такую минуту для людей даже меньшаго душевнаго калибра, чѣмъ Болконскій, все личное отодвигается на второй планъ. Но мысль о смерти не такъ-то легко отогнать, а смерть—дѣло личное и человѣкъ, о ней думающій, невольно обращается мыслью—даже въ такую историческую минуту—къ самому себѣ. Князь Андрей въ первый разъ съ необыкновенной живостью представилъ себѣ свою смерть ¹⁾—«И съ высоты этого представленія все, что прежде мучило и занимало его, вдругъ освѣтилось холоднымъ бѣлымъ свѣтомъ, безъ перспективы, безъ различія очертаній. И вся жизнь представилась ему волшебнымъ фонаремъ, въ который онъ долго смотрѣлъ сквозь стекло и при искусственномъ освѣщеніи. Теперь онъ увидѣлъ вдругъ безъ стекла, при яркомъ дневномъ свѣтѣ, эти дурно намалеванныя картины» (гл. XXIV).—Какое душевное состояніе воспроизведено здѣсь? Мы только-что видѣли, что мысль о смерти ужаснула князя Андрея, что у него «морозъ пробѣжалъ по спинѣ» (см. примѣчаніе), когда онъ представилъ себѣ свое «отсутствіе въ этой жизни». Отсюда ясно, что онъ, несмотря на мрачное и ожесточенное состояніе духа, переживавшееся имъ въ это время, далеко не потерялъ *вкуса* къ жизни, желанія жить, дѣйствовать, стремиться. Да иначе онъ и не могъ-бы сохранить ни той ясности мысли, какую онъ проявляетъ, ни способности руководиться веленіями *чести*,—одного изъ наиболѣе яркихъ и характерныхъ проявленій жизни. И жизнь далеко еще не утратила своей власти надъ нимъ,—онъ еще очень доступенъ, если можно такъ выразиться, гипнозу ея внушеній. Если все это такъ, то превращеніе въ его сознаніи этой жизни въ «дурно намалеванныя картины» указываетъ намъ не на преждевременную душевную смерть, а на что-то другое. Оно указываетъ на слѣдующее. Князь Андрей шелъ по пути критики и отрицанія. Для натуръ, живущихъ не однимъ умомъ, для людей жизни, а не отвлеченной, теоретической мысли, это путь трудный, сопряженный съ постепенной переработкой различныхъ сторонъ души сообразно требованіямъ и отрипаніямъ критической мысли. Этотъ путь ведетъ въ гору. Это подъемъ духа надъ дѣйствительностью, которая представляется критическому уму въ различномъ видѣ, смотря потому, какъ высоко

¹⁾ „Онъ живо представилъ себѣ отсутствіе себя въ этой жизни. И эти березы съ ихъ свѣтомъ и тѣнью, и эти курчавыя облака, и этотъ дымъ костровъ—все это вокругъ преобразилось для него и показалося чѣмъ-то страшнымъ и угрожающимъ. Морозъ пробѣжалъ по его спинѣ“ (гл. XXIV).

этотъ умъ успѣлъ подняться. Есть и такая точка, съ высоты которой даже наиболѣе значительныя и внутренне-содержательныя проявленія дѣйствительности покажутся дурно-намалеванными картинами. Вотъ этой-то точки и достигъ кн. Андрей въ данную минуту, когда мысль о смерти какъ-бы окрылила его умъ и чувство. И результатомъ подъема были новые успѣхи отрицанія, выразившіеся въ слѣдующемъ размышленіи кн. Андрея: «слава, общественное благо, любовь къ женщинамъ, само отечество... какъ велики казались мнѣ все эти картины, какого глубокаго смысла казались онѣ исполненными! И все это такъ просто, блѣдно и грубо при холодномъ, бѣломъ свѣтѣ того утра, которое, я чувствую, подымается для меня!»

Таково душевное состояніе Андрея въ данный моментъ. Разсматриваемое, какъ симптомъ или выраженіе самой природы его, оно свидѣтельствуетъ о томъ, что князь Андрей принадлежитъ къ числу тѣхъ, кому присуща способность отвлечься отъ привычнаго—житейскаго—возврѣнія на жизнь и все блага ея и подняться на ту высоту—не только мысли, но чувства, съ которой все это—тлѣнъ и прахъ и кажется такимъ мелкимъ, жалкимъ, пошлымъ. Но здѣсь важно отмѣтить принципиальное отличіе этого уклада духа отъ повидимому столь сходнаго съ нимъ порядка мыслей и чувствъ, развитыхъ Тургеневымъ въ «Довольно» и «Призракахъ» ¹⁾.

У Тургенева преобладающимъ мотивомъ является сознаніе человѣческаго ничтожества передъ стихіею природы, передъ всепожирающимъ Молохомъ смерти, унылое и безотрадное чувство, отвѣчающее этому сознанію, философскій пессимизмъ, способный подкосить всякую энергію жизни и дѣятельности. У кн. Андрея мы находимъ ясные признаки настроенія, ничего общаго неимѣющаго съ такимъ упадкомъ душевныхъ силъ. Напротивъ, мы видимъ, что все силы его души вострепнулись, и съ психологической стороны—онъ вооруженъ для дѣйствія, для подвига такъ, какъ будто-бы въ тѣхъ мысляхъ о смерти, въ томъ «холодномъ бѣломъ свѣтѣ подымающагося для него утра» нѣтъ ровно ничего, способнаго парализовать энергію и сдѣлать все дѣйствія, все подвиги—ненужными. Это ясно обнаруживается въ бесѣдѣ съ Пьеромъ, пришедшемъ навѣстить его. Здѣсь опять выдѣляется рѣзкій, озлобленный тонъ его рѣчей, иногда напоминающій тотъ, въ которомъ онъ говорилъ съ Пьеромъ въ Богучаровѣ. Онъ утверждаетъ, напр., что «война должна быть война, а не забава», и что плѣнныхъ нужно убивать. Эта выходка, явно противорѣчащая гуманнымъ убѣжденіямъ кн. Андрея, есть одна изъ тѣхъ утрировокъ, къ которымъ такъ склоненъ кн. Андрей въ минуты приподнятаго и напряженнаго состоянія духа. Въ такія минуты ярко обнаруживается его прирожденный радикализмъ, его склонность къ

¹⁾ Объ этомъ см. мои „Этюды о творчествѣ Тургенева, глава II“.

рѣзкой постановкѣ вопросовъ, къ послѣдовательному отрицанію. И Толстой могъ, не рискуя нарушить художественную правду, приписать здѣсь князю Андрею свой отрицательный взглядъ на войну. Радикальная постановка вопроса, гласящая, что война должна быть война, а не игрушка, что, если ужъ нужно воевать, то слѣдуетъ «принимать строго и серьезно эту страшную необходимость»,—такая постановка является лишь предисловіемъ къ рѣзкой, беспощадной филиппикѣ—въ духѣ идей Л. Н. Толстого—противъ войны и военного сословія («цѣль войны—убійство, орудія войны—шпіонство, измѣна и т. д...»).—Филлиппика оканчивается неволью вырвавшимся признаніемъ, проливающимъ свѣтъ на то, что происходитъ въ душѣ кн. Андрея: «какъ Богъ только смотритъ и слушаетъ ихъ! Ахъ, душа мая, послѣднее время мнѣ стало тяжело жить. Я вижу, что сталъ понимать слишкомъ много. А негодится человѣку вкушать отъ древа познанія добра и зла...»

Человѣку, «вкусившему» отъ этого «древа», человѣку по-гамлетовски много понимающему и далеко видящему черезъ головы современниковъ,—смотря по его натурѣ, открыты три пути въ жизни: или уединеніе мыслителя, путь умственной активности и нравственной обломовщины, или проповѣдь чисто-нравственной реформы на почвѣ самосовершенствованія (какъ напр. новое ученіе Толстого), или наконецъ путь дѣйствія *quand-même*, рѣшительнаго, чуждаго всему, что пахнетъ компромиссомъ и оппортунизмомъ. Князь Андрей, прежде всего, человѣкъ *чести* и сильной дѣйствующей воли, натура столь склонная къ радикальной постановкѣ вопросовъ и къ душевному ожесточенію въ борьбѣ,—пойдетъ, конечно, по третьему пути и—погибнетъ на своемъ посту.

VI.

Мы видѣли кн. Андрея въ различномъ освѣщеніи, въ разные моменты его жизни—и такимъ образомъ имѣли возможность всесторонне изучить его сложную натуру. Въ одномъ только душевномъ состояніи мы еще не наблюдали его, въ состояніи душевнаго размягченія, умиленія, всепрощенія, и даже не знаемъ, способенъ-ли онъ питать эти чувства. Оказывается однако, что способенъ.

Тяжело раненаго въ Бородинскомъ сраженіи, князя Андрея перенесли на перевязочный пунктъ, и здѣсь, послѣ операціи, онъ узналъ въ молодомъ офицерѣ, которому только-что отняли ногу, ненавистнаго ему Анатоля Курагина. Еще наканунѣ, вспомнивъ о немъ и объ измѣнѣ Наташи, онъ испыталъ приливъ злобныхъ чувствъ и жажду мести. Но теперь, передъ лицомъ смерти, всѣ злобныя чувства угасли въ немъ, и, потрясенный физически и нравственно, онъ «заплакалъ нѣжными, любовными слезами надъ людьми, надъ собой и надъ ихъ и своими за-

блужденіями» (гл. XXXVII-ая III-го тома). И совсѣмъ новый порядокъ чувствъ и мыслей овладѣваетъ его душой. «Состраданіе, любовь къ людямъ, къ любящимъ, любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ,—да, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой меня учила княжна Марья и которой я не понималъ,—вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно то, что еще оставалось мнѣ, ежели-бы я былъ живъ...» (тамъ-же).

Такъ думалъ кн. Андрей въ эту минуту, когда онъ уже уходилъ отъ жизни и когда въ немъ произошло какъ-бы перемѣщеніе душевныхъ элементовъ: въ его душѣ вскрылся родникъ христіанскихъ, альтруистическихъ чувствъ, существованія котораго раньше мы и не подозрѣвали у него. Оказывается, что натура князя Андрея еще сложнѣе и богаче, чѣмъ мы думали. Теперь его лозунгъ—состраданіе, христіанское всепрощеніе, и онъ думаетъ, что только это и оставалось-бы ему въ жизни. Это была, конечно, иллюзія. Останься онъ въ живыхъ, этотъ порядокъ чувствъ опять скрылся-бы гдѣ-то въ глубинѣ души, и заправляющимъ мотивомъ его жизни и дѣятельности явились-бы совсѣмъ иные чувства и мысли, тѣ земныя, страстныя состоянія, которыя управляли имъ раньше и въ которыхъ найдется все, что угодно, только не всепрощеніе. Къ этому послѣднему онъ могъ-бы обратиться развѣ только послѣ какого-нибудь потрясающаго событія въ его жизни, которое-бы такъ или иначе отняло у него всякую возможность живой дѣятельности. Едва-ли можно сомнѣваться въ томъ, что, останься кн. Андрей въ живыхъ,—онъ явился бы однимъ изъ вождей движенія, окончившагося событіемъ 1825 года. И вотъ развѣ только послѣ катастрофы, гдѣ нибудь въ казематѣ или «въ глубинѣ сибирскихъ рудъ», заживо-похороненный, онъ могъ-бы, «храня гордое молчаніе», найти послѣднее прибѣжище въ христіанскомъ всепрощеніи, въ евангельской любви.

Изображеніе того, какъ умиралъ кн. Андрей (главы XXXII-ая III-ей части III-го тома и XVI-ая I-ой части IV-го тома), принадлежитъ къ значительнѣйшимъ созданіямъ художественнаго генія Толстого. Но для выясненія натуры кн. Андрея, послѣ всего, что мы уже знаемъ о немъ, существеннаго значенія оно не имѣетъ.

Въ эпилогѣ, дѣйствіе котораго относится къ 1820-му году, и гдѣ, какъ сказано въ примѣчаніи къ «Декабристамъ», видны уже признаки того возбужденія, которое отразилось въ событіяхъ 14-го декабря 1825-го года.—тѣнь князя Андрея промелькнетъ передъ нами, когда мы прочтемъ о томъ, какъ «радостно-восторженно» слушалъ его сынъ Николаенька горячія рѣчи Пьера, какъ «всякое слово Пьера жгло его сердце», и онъ наконецъ спросилъ: «Ежели-бы папа былъ живъ... онъ-бы согласенъ былъ съ вами?» (гл. XIV). И еще разъ эта тѣнь промелькнетъ передъ нами—на послѣдней страницѣ великой эпопеи, въ описаніи сна

Николеньки и въ заключительныхъ словахъ восторженнаго мальчика: «А дядя Пьеръ? О, какой чудный человекъ! А отецъ? Отецъ, отецъ! Да, я сдѣлаю то, чѣмъ-бы даже *онъ* былъ доволенъ...»

Въ психологіи движенія 20-хъ годовъ весьма видное мѣсто, можетъ быть даже первенствующая роль принадлежала тому укладу натуръ и умовъ, который изображенъ въ *Андрей Болконскомъ*. Но рядомъ съ натурами и умами этого типа выдвигались и дѣйствовали и другіе, между прочимъ—тѣ, которые находятъ свое обобщеніе въ образѣ *Пьера Безухова*. Въ слѣдующей главѣ, анализируя этотъ типъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ будемъ вспоминать и князя Андрея, чтобы, путемъ сравненія обѣихъ натуръ, подвести имъ итогъ—съ точекъ зрѣнія психологической, исторической и художественной.

ГЛАВА VII.

Великосвѣтскіе типы.

I.

Пьеръ Безуховъ въ противоположность князю Андрею не представляется намъ натурою, о которой возможны были бы диаметрально-противуположныя сужденія. Поэтому намъ не придется въ данномъ случаѣ прибѣгать къ подробному анализу душевнаго склада Безухова съ цѣлью установить правильное понятіе о немъ, какъ о *человѣкѣ*. Наша задача будетъ состоять только въ томъ, чтобы выяснитъ смыслъ и значеніе этого образа—какъ *типа*. Преслѣдуя эту задачу, мы пойдемъ по тому же пути, по которому шель Толстой: онъ создалъ типъ Безухова *параллельно* типу князя Андрея, онъ далъ намъ въ этихъ двухъ образахъ двѣ *соотносительныя*, одна другую дополняющія и объясняющія психологическія величины. Слѣдовательно, наше посильное истолкованіе типа Безухова должно быть основано на сравненіи съ типомъ князя Андрея.

Мы знаемъ, что, по складу ума, по основнымъ чертамъ природы, въ особенности по характеру волевого уклада, кн. Андрей принадлежитъ къ числу людей «дѣла», къ призваннымъ дѣятелямъ практической жизни на почвѣ общественной или государственной. Пьеръ Безуховъ, напротивъ,—натура непригодная для практической дѣятельности. Кардинальная черта его ума—склонность (и способность) къ «мечтательному философствованію», его природы—слабость дѣйствующей воли, отсутствіе инициативы, неспособность воздѣйствовать на окружающую среду и подчинять себѣ волю другихъ людей ¹⁾.

¹⁾ Мѣста, гдѣ натура Пьера въ этомъ смыслѣ противопоставляется натурѣ князя Андрея, уже были приведены нами («В. и М.», томъ I, ч. I, гл. VI и т. II, ч. III, гл. I).

Какъ ни важна эта характеристика занимающихъ насъ образовъ, но она сама по себѣ, въ отдѣльности отъ другихъ чертъ, не можетъ служить основаніемъ для ихъ критическаго истолкованія, какъ художественныхъ типовъ. Если-бы мы, отправляясь отъ этой характеристики, захотѣли взглянуть на образы кн. Андрея и Пьера Безухова, какъ на широкіе общечеловѣческіе типы, то сейчасъ-же увидѣли бы, какъ эти яркія, полныя жизни фигуры тускнѣютъ, блѣднѣютъ и теряютъ свою художественную силу. Но въ этомъ отношеніи есть нѣкоторая разница между ними; кн. Андрей всетаки въ извѣстной мѣрѣ доступенъ отвлеченію отъ условій и красокъ мѣста, времени, націи и перенесенію на другую почву, между тѣмъ какъ Пьеръ Безуховъ рѣшительно этому сопротивляется, — нѣтъ возможности перенести его куда-нибудь въ Германію, Францію, Англію,—онъ мыслимъ и художественно-интересенъ только въ Россіи и при томъ въ извѣстную эпоху, — ту, которую можно назвать переходною отъ XVIII-го вѣка къ XIX-му. Это различіе въ значительной мѣрѣ обусловлено тѣмъ, что кн. Андрей — аристократъ *pur sang*, человекъ породы и рѣзко-типично выраженной сословной психологической формы, между тѣмъ какъ Пьеръ, сынъ «случайнаго» человекъ, «плебей» по происхожденію, является представителемъ той условно-аристократической формы, которая была явленіемъ специфически-русскимъ ¹⁾. Въ старой Европѣ типичныя черты кн. Андрея, какъ аристократа, какъ человекъ чести и долга и съ призваніемъ къ широкой государственной дѣятельности, наконецъ какъ дѣятеля оппозиціи, найдутся еще въ болѣе яркомъ и пѣльномъ выраженіи. Поэтому кн. Андрей, со стороны сословно-психологической, можетъ *отчасти* служить *однимъ изъ представителей* этого общеевропейскаго—уже почти исчезнувшаго—типа. Но не трудно видѣть, что при всемъ томъ онъ отнюдь не могъ бы претендовать на роль широкаго художественнаго обобщенія, ибо странно было бы ходить за такимъ обобщеніемъ въ страну, гдѣ аристократическая форма оста-

¹⁾ Въ этой психологической формѣ, которую удобнѣе было бы называть не аристократическою, а только великосвѣтскою, мы не усматриваемъ той стойкости и законченности, какія мы видимъ въ настоящемъ аристократизмѣ князя Андрея. Въ Пьерѣ даетъ себя чувствовать «плебей», homo pauper, въ своемъ родѣ «разночинецъ». Онъ аристократъ только потому, что получилъ великосвѣтское и заграничное воспитаніе и образованіе, что, enfant naturel «графа» Безухова, онъ былъ имъ усыновленъ и получилъ титулъ «графа» вмѣстѣ съ огромнымъ состояніемъ.

лась чѣмъ-то недоразвитымъ, лишь слабымъ намекомъ на то, что въ этомъ отношеніи представляетъ Зап. Европа.

Итакъ, кн. Андрей въ извѣстной только мѣрѣ доступенъ превращенію изъ типа русскаго въ общечеловѣчскій. Зато Пьеръ Безуховъ этой операціи рѣшительно противится. Конечно, натуры съ преобладающей склонностью къ «мечтательному философствованію» и съ слабымъ развитіемъ дѣйствующей воли найдутся вездѣ. Но дѣло въ томъ, что Пьеръ, понятый только какъ воплощеніе извѣстныхъ чертъ натуры безъ дальнѣйшихъ опредѣленій, безъ приуроченія къ русской почвѣ, совсѣмъ исчезаетъ, какъ *художественный образъ*, превращаясь въ блѣдную схему, которая ничего не говоритъ, никакого психологическаго интереса не представляетъ. Когда мы говоримъ о широкой общечеловѣчности типа, то при этомъ предполагается, что типъ сохраняетъ свою художественность, остается живымъ конкретнымъ образомъ. Если же онъ не можетъ обобщаться иначе, какъ теряя свою художественную конкретность, то это значитъ, что это типъ — не общечеловѣчскій, и навязывать ему такую роль нельзя. Таковъ именно нашъ Пьеръ Безуховъ.

Если мы вникнемъ въ психологическую сущность той черты, которую Толстой называетъ «мечтательнымъ философствованіемъ» Пьера, то убѣдимся, что она представляетъ собою явленіе специфически-русское. Прежде всего это «мечтательное философствованіе» не есть игра празднаго ума, въ которомъ пробудились нѣкоторые теоретическіе интересы и который сегодня философствуетъ о войнѣ, о грядущемъ вѣчномъ мирѣ, завтра о Богѣ и истинной вѣрѣ и т. д. и находитъ удовлетвореніе въ самомъ процессѣ этого теоретизированія. Для Пьера характерно то, что всѣ его умствованія вытекаютъ изъ глубокой потребности его натуры, что они не исключительно «головного» происхожденія. По самому складу своего ума, Пьеръ менѣе всего теоретикъ и кабинетный мыслитель. Вопросы, надъ которыми онъ бьется, при всей отвлеченности нѣкоторыхъ изъ нихъ, суть въ сущности вопросы жизни, и сама постановка ихъ вытекаетъ изъ стремленія выработать себѣ такое міросозерцаніе и устроить свою жизнь такъ, чтобы въ результатъ получить возможно полный покой совѣсти, возможное *нравственное* удовлетвореніе, основанное на сознаніи, что мысля и живя *такъ*, онъ «дѣлаетъ благое дѣло среди царящего зла». Пьеръ — типичный представитель или, лучше, провозвѣстникъ, предтеча русскаго *идеализма*.

Если съ этой точки зрѣнія проведемъ параллель между нашими двумя героями, то князя Андрея придется назвать *реалистомъ*, Пьера Безу-

хова — *идеалистомъ* (или *идеологомъ*). Понятіе *идеализма* я беру здѣсь не въ томъ смыслѣ, въ какомъ оно противопоставляется эгоизму и житейской практичности; я противопоставляю его реализму, который отнюдь не означаетъ отсутствія идеальныхъ стремленій. Оба, Болконскій и Безуховъ, руководятся въ жизни нѣкоторыми высшими стремленіями, имѣютъ или ищутъ извѣстный идеалъ; они отнюдь не могутъ быть причислены къ людямъ, живущимъ въ свое удовольствіе, поглощеннымъ заботами о карьерѣ, каковы напр. кн. Василій, Курагинъ, Бергъ и др.; равнымъ образомъ они не принадлежатъ и къ числу тѣхъ наивно-хорошихъ людей, которые неспособны подняться выше уровня идей и нравственныхъ понятій времени. Типичнымъ представителемъ такихъ хорошихъ людей является Николай Ростовъ. Безуховъ и Болконскій рѣзко выдѣляются изъ массы заурядныхъ людей того и другого сорта сложностью и высотой своихъ душевныхъ запросовъ, серьезностью своихъ требованій отъ жизни и неспособностью наивно жить, «не мудрствуя». Въ этомъ смыслѣ оба они являются идеалистами. Но называя одного изъ нихъ *реалистомъ*, я уже беру терминъ *идеализмъ* въ другомъ смыслѣ, именно въ томъ, въ какомъ онъ противопоставляется *реализму*. Критеріемъ является здѣсь уже не присутствіе или отсутствіе идеальныхъ стремленій, а *извѣстный способъ отношенія мыслящаго чловѣка къ дѣйствительности*. Я называю князя Андрея *реалистомъ* потому, что для него исходною точкою стремленій служить *сама дѣйствительность*, и онъ въ построеніи своихъ идей, въ исканіи идеала, въ программѣ жизни и дѣятельности всегда ищетъ точки опоры въ окружающей его жизни и въ ея исторически-данныхъ условіяхъ. Я называю Пьера *идеалистомъ* или *идеологомъ* потому, что у него отправнымъ пунктомъ мысли и стремленій является всегда система тѣхъ идей или вѣрованій, которыми онъ въ данное время увлекается, а дѣйствительность, среди которой онъ живетъ и дѣйствуетъ, представляется какъ бы выводомъ изъ этихъ идей: она окрашивается и мѣняетъ свой обликъ сообразно измѣненіямъ въ характерѣ и составѣ идей, занимающихъ мысль Пьера.

Вспомнимъ, съ какою сознательностью и, можно сказать, добросовѣстностью наблюдателя относится князь Андрей къ окружающей дѣйствительности. Онъ прямо ее изучаетъ, стараясь прежде всего составить себѣ ясное и точное представленіе о совершающихся событіяхъ, о группировкѣ партій, о ихъ вожакахъ, о достоинствахъ и недостаткахъ дѣйствующихъ лицъ и т. д. Послѣ назначенія Кутузова, князю Андрею необходимо было лично удостовѣриться въ томъ, въ самомъ-ли дѣлѣ этотъ выборъ удаченъ. И вотъ онъ, поступивъ въ штабъ Кутузова, присматривается къ этому чловѣку, наблюдаетъ его и выноситъ извѣстную намъ оцѣнку главнокомандующаго. Такъ же точно наблюдаетъ онъ и старается понять Багратиона. Всѣ его отношенія къ Сперанскому въ

основѣ своей сводятся къ старанію понять этого государственнаго чело-
вѣка, проникнуть въ смыслъ и значеніе его дѣятельности. Съ наименьшимъ
вниманіемъ присматривается онъ и къ второстепеннымъ лицамъ, входя
въ подробности ихъ дѣйствій (вспомнимъ его отношенія къ кап. Ту-
шину). Во всемъ этомъ видна не только «жилка» челоѣка съ практи-
ческимъ смысломъ, но также виденъ *реалистъ* по складу ума,—челоѣкъ,
который прежде всего стремится изслѣдовать и понять окружающую
дѣйствительность, какъ она есть, чтобы потомъ уже, на основаніи этого
изученія, установить свои отношенія къ ней.

Совсѣмъ иное видимъ мы у Пьера. Онъ живетъ своимъ собствен-
нымъ міромъ и только *присутствуетъ* среди окружающей его дѣйстви-
тельности. Настоящее положеніе вещей, группировка и борьба партій,
дѣятельность историческихъ лицъ,—все это не вызываетъ въ немъ того
живого интереса, который заставилъ бы его хоть на время отвлечься
отъ занимающихъ его идей. Углубленный въ свои размышленія, занятый
поразившей его мыслью, онъ въ состояніи совсѣмъ забыть о томъ, что
происходитъ вокругъ. Его извѣстная разсѣянность находится въ не-
сомнѣнной связи съ этой способностью самоуглубленія.

Во время занятія Москвы французами Пьеръ поглощенъ массон-
ствомъ и реагируетъ на событія мистикою чисель и фантастическимъ
планомъ убіенія Наполеона. Въ плѣну, въ самой ужасной обстановкѣ,
въ виду постоянной возможности или даже вѣроятности быть разстрѣ-
ляемымъ, Пьеръ по прежнему занятъ внутренней работой духа, которая,
въ виду исключительности положенія, получаетъ только новое направ-
леніе, да еще протекаетъ съ большею, чѣмъ прежде интенсивностью.
Прежній порядокъ идей разрушается, и на его развалинахъ создается
новый. Въ этомъ созиданіи огромное значеніе имѣла встрѣча съ Кара-
таевымъ. Смыслъ этихъ внутреннихъ преобразованій—тотъ, что плѣнъ,
лишенія, смерть—все это пустяки. Свобода—внутри челоѣка, и отнять
ее нельзя. Безсмертную душу нельзя держать въ плѣну или казнить и
т. д. Главы XII—XIV второй части IV-го тома, описывающія эту «эво-
люцію» во внутреннемъ мірѣ Пьера, прекрасно воспроизводятъ *идеали-
стическій* складъ ума этого челоѣка.

Очень характерно также то, что, въ то время какъ князю Андрею
нужно было знать, что такое Кутузовъ, Пьеру необходимъ былъ Кара-
таевъ. Русскій національный складъ или «духъ» въ формѣ «Кутузов-
щины» выступилъ на историческую авансцену и явился однимъ изъ
важныхъ факторовъ въ цѣпи событій, въ текущемъ обиходѣ дѣйстви-
тельности, въ данный моментъ исторической жизни Россіи,—и вотъ именно
съ этой стороны онъ и представлялъ интересъ и важность для князя
Андрея. Для Пьера, живущаго своимъ внутреннимъ міромъ и озабочен-
наго исканіемъ вѣры или идеала, важно не это историческое проявленіе

національнаго духа, а—его корни въ народной психологіи, его наивное
выраженіе въ народномъ міросозерцаніи. Чтобы Пьеръ могъ приоб-
щиться къ нему, онъ долженъ былъ открыться Пьеру въ идеализиро-
ванномъ образѣ Каратаева.

II.

Идеалистическая (въ вышеуказанномъ смыслѣ) натура Пьера пре-
красно поясняется тѣмъ, что говоритъ о немъ Толстой въ началѣ главы
XII-ой II-ой части IV-го тома: «Онъ долго въ своей жизни искалъ съ
разныхъ сторонъ... *успокоенія—согласія съ самимъ собою...* онъ искалъ
этого въ филантропіи, массонствѣ, въ разсѣянности свѣтской жизни, въ
винѣ, въ геройскомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романтической
любви къ Наташѣ; онъ искалъ этого путемъ мысли, и всѣ эти исканія
и попытки—всѣ обманули его». Въ этихъ словахъ Толстой подвелъ итогъ
всей предшествующей исторіи Пьера—вплоть до плѣна и встрѣчи съ
Каратаевымъ. Главный внутренний мотивъ, двигавшій Пьеромъ, сви-
дѣлся къ исканію душевнаго успокоенія, согласія съ самимъ собою; иначе
говоря, его задача была личная, субъективная въ тѣсномъ смыслѣ этого
слова. Говорю «въ тѣсномъ смыслѣ», потому что въ *обширномъ смыслѣ*
и у князя Андрея, да и у всякаго челоѣка задача, вытекающая изъ
потребностей ума, сердца, изъ характернаго уклада воли, всегда остается
личною, субъективною, да и не можетъ быть иною. Но огромное раз-
личіе между людьми въ этомъ отношеніи сводится къ самому способу
постановки задачи и къ характеру вытекающихъ оттуда отношеній че-
лоѣка къ дѣйствительности. Одни ставятъ свою личную проблему такъ,
что большая часть умственныхъ, нравственныхъ и другихъ интересовъ
высшаго порядка, какіе есть у челоѣка, влекутъ его мысль, чувство и
волю къ окружающей жизни, къ дѣйствительности, къ тому, что совер-
шается во внѣшнемъ мірѣ; въ силу этого, личная задача сводится къ
установленію или урегулированію отношеній челоѣка къ дѣйствитель-
ности; это приводитъ къ изученію дѣйствительности, къ исканію въ ней
точекъ опоры, къ критикѣ явленій окружающей жизни,—критикѣ, ко-
торая можетъ дать важныя указанія для рѣшенія личной задачи. Таковъ
князь Андрей. Вотъ именно людей этого типа я и называю *реалистами*,
какъ бы ни были высоки и отдаленны ихъ идеалы. Другіе, напротивъ,
ищутъ рѣшенія личной задачи путемъ самоуглубленія, стремясь пре-
образовать свой внутренний міръ силою той или иной идеи, того или
другого чувства, вѣрованія, догмата—религіознаго или нравственнаго.
Обращаясь къ дѣйствительности, они сейчасъ же превращаютъ любой
изъ ея вопросовъ, которыхъ всегда много, въ личный вопросъ своей
совѣсти, вѣры, убѣжденія. И на этомъ пути вопросы жизни незамѣтно
превращаются у людей этого типа въ средства къ достиженію «согласія

съ самимъ собою». Возникаетъ такимъ образомъ та постановка личной задачи, въ силу которой эта послѣдняя превращается въ личную или субъективную по преимуществу. Люди, какъ кн. Андрей, будутъ тяготѣть къ дѣйствительности, будутъ искать въ ней точекъ опоры, если нельзя для дѣятельности, то хотя бы для мысли, даже и въ томъ случаѣ, когда они убѣждаются въ невозможности окончательно рѣшить личную задачу. Задачу этихъ людей скорѣе можно бы опредѣлить, не какъ исканіе внутренняго успокоенія и согласія съ самимъ собою, а какъ стремленіе осуществить свою общественную стоимость. Для нихъ поэтому важнѣе всего—критика дѣйствительности и сознательный выборъ тѣхъ ея сторонъ, которыя, по свойству ума, по способностямъ, по общественному положенію человѣка, по «ресурсамъ», находящимся въ его распоряженіи, могли бы явиться для него искомыми точками опоры, точками приложенія душевныхъ силъ. Напротивъ, для натуръ, какъ Пьеръ, дѣйствительность представляется только обстановкой или ареною, на которой они ищутъ «успокоенія»,—и беспорядочно, суетливо стучится жизнь въ ихъ внутренній міръ различными сторонами своими, важными и ничтожными,—и на эти призывы жизни такіа природы реагируютъ сегодня филантропіей, завтра самоотверженнымъ подвигомъ, потомъ романтической любовью и т. д. Идеалистическое отношеніе къ дѣйствительности въ такой натурѣ сводится здѣсь къ тому, что представленіе о ней и пониманіе ея вопросовъ находится всецѣло въ зависимости отъ характера тѣхъ идей, вѣрованій, настроеній, въ которыхъ личность въ данное время думаетъ найти «успокоеніе».

Вотъ и посмотримъ, какъ Пьеръ искалъ этого успокоенія, и каковы были его отношенія къ дѣйствительности.

Сперва обратимся къ тому, очень важному въ жизни Пьера, моменту, когда онъ встрѣтился съ масономъ Баздѣвымъ (томъ II, часть II, гл. II). Это—отправной пунктъ «исканій» Пьера, начало его душевной исторіи. Душевный мотивъ, который тутъ впервые намѣчался и вскорѣ долженъ былъ проявиться съ нѣкоторой отчетливостью, опредѣляется формулою: «личное нравственное совершенствованіе на почвѣ служенія ближнимъ (обществу, отечеству, человѣчеству). Формула эта у Пьера и у всѣхъ, для кого онъ типиченъ, отличается способностью къ перестановкѣ своихъ терминовъ, къ превращенію въ формулу: «служеніе ближнимъ (обществу, отечеству, человѣчеству) на почвѣ личнаго нравственнаго совершенствованія». Эта перестановка далеко не всегда сознается, совершаясь нерѣдко «въ глубинѣ души». Еслибы во время бесѣды съ Баздѣвымъ Пьеръ могъ подвергнуть самого себя психологическому диагнозу, то онъ очень затруднился бы отвѣтить на вопросъ: какая именно внутренняя потребность влекла его къ масонству,—была ли это жажда нравственнаго возрожденія по преимуществу, или же жажда общественной дѣя-

тельности? Несомнѣнно одно: онъ уже тогда искалъ «примиренія съ самимъ собою» и хотѣлъ стать лучше, чище, добродѣтельнѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ, что личная добродѣтель не могла быть конечною цѣлью его стремленій. И вскорѣ разрывъ Пьера съ петербургскими масонами покажетъ намъ, что Пьеръ не могъ успокоиться на одной личной добродѣтели, что потребность благотворной общественной дѣятельности была въ немъ жива и сильна, но только онъ не могъ, ни тогда, ни послѣ, освободить эту потребность отъ вопросовъ личной нравственности и субъективной задачи. Не оттого-ли общественная дѣятельность никогда и не удавалась Пьеру? Вотъ именно этотъ вопросъ мы и постараемся выяснитъ.

Не только у Пьера, тогда еще неопита въ этихъ идеальныхъ стремленіяхъ, но и у наставника его, Баздѣва, вопросы личные и вопросы общественные переплетаются самымъ причудливымъ образомъ. Баздѣвъ прежде всего открываетъ Пьеру заманчивую перспективу постиженія «высшей мудрости», абсолютной истины, составляющей будто бы монополию масонства. Онъ говоритъ: «высшая мудрость основана не на одномъ разумѣ, не на тѣхъ свѣтскихъ наукахъ—физикѣ, исторіи, химіи и т. д., на которыя распадается знаніе умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имѣетъ одну науку—науку всего, науку, объясняющую все мірозданіе и занимаемое въ немъ мѣсто человѣка. Для того, чтобы вмѣстить въ себя эту науку, необходимо очистить и обновить своего внутренняго человѣка, и потому прежде, чѣмъ знать, нужно вѣрить и совершенствоваться. И для достиженія этихъ цѣлей въ душу нашу вложенъ свѣтъ Божій, называемый совѣстью». Уже тутъ личное совершенствованіе, чистота души, добродѣтель представлены какъ средство для достиженія чего-то другого, точно онѣ—не цѣль сами по себѣ. На это Пьеръ могъ бы возразить, что разъ дѣло идетъ не о ходячей, элементарной морали, а о выработкѣ высшихъ нормъ и идеала нравственности, необходимо уже имѣть въ своемъ распоряженіи хотя бы основанія этой «мудрости», этого познанія «всего» и мѣста, занимаемаго человѣкомъ, т. е. нужно имѣть понятіе о призваніи, назначеніи человѣка и т. д. Но такъ какъ въ душѣ Пьера, въ данное время, господствуетъ стихійное броженіе, весьма аналогичное той путаницѣ понятій, какая имѣетъ мѣсто въ головѣ Баздѣва, то онъ и не находитъ никакихъ возраженій, а только поддакивается,—и ему кажется, что въ самомъ дѣлѣ истинный путь открывается ему. Еще рѣзче обнаруживается хаотичность душевнаго броженія Пьера и путаница понятій Баздѣва въ томъ, что чувствуетъ первый, и что говоритъ второй—въ слѣдующей краснорѣчивой тирадѣ, затрогивающей самыя больныя мѣста Пьера: «посмотрите на свою жизнь, государь мой. Какъ вы проводили ее? Въ буйныхъ оргіяхъ и развратѣ, *все получая отъ общества и ничего не давая ему.*

Вы получили богатство? Как вы употребили его? Что вы сдѣлали для ближняго своего? Подумали-ли вы о десяткахъ тысячъ вашихъ рабовъ, помогли-ли вы имъ физически и нравственно? Нѣтъ. Вы пользовались ихъ трудами, чтобы вести распутную жизнь...»—Казалось бы, вотъ наконецъ, Баздѣевъ подошелъ къ самой сути дѣла, къ тому пункту, съ высоты котораго лично-нравственная задача съ одной стороны и социальная проблема съ другой очертаются въ своей раздѣльности и въ то же время въ тѣхъ рациональныхъ психологическихъ соотношеніяхъ своихъ, при соблюденіи которыхъ онѣ не будутъ путаться и мѣшать одна другой. Казалось, Баздѣевъ поднималъ животрепещущій вопросъ времени, вопросъ жизни, разумная постановка котораго могла подсказать и рѣшеніе личной задачи, напр. хотя-бы—на первыхъ порахъ—въ такомъ элементарномъ видѣ: ты ищешь спокойствія совѣсти, примиренія съ собою, нравственного удовлетворенія; вотъ предъ тобою великая задача,—служи ей: у тебя десятки тысячъ рабовъ, у тебя огромное состояніе,—употреби же хоть часть его на улучшеніе жизни и просвѣщеніе твоихъ рабовъ, не говоря уже о томъ, что, какъ человѣкъ гуманный, просвѣщенный и независимый, ты могъ бы кое-что сдѣлать въ интересахъ подготовки освобожденія народа отъ крѣпостной зависимости въ будущемъ, о чемъ уже начинаютъ подумывать лучшие люди въ обществѣ и даже въ самомъ правительствѣ. И если ты пойдешь по этому пути, то несомнѣнно твоя жизнь будетъ полна, разумна и ты ео ipso сдѣлаешь огромный шагъ впередъ въ преслѣдованіи своего лично-нравственного идеала.—При такой постановкѣ вопроса вниманіе Пьера было бы отвлечено отъ субъективной сферы, гдѣ центромъ, вокругъ котораго все вращается, служитъ личное «я», къ объективной,—къ окружающей дѣйствительности, гдѣ это «я», при благоприятныхъ условіяхъ, можетъ найти, въ подчиненіи цѣлому, какъ-разъ то самое, что нужно для гармоническаго развитія душевныхъ силъ личности и для удовлетворенія различнымъ ея запросамъ, въ томъ числѣ и нравственнымъ.

Но, какъ видимъ изъ дальнѣйшаго, Баздѣевъ и не думаетъ, да и не можетъ стать на эту точку зрѣнія. Дѣло представляется такъ, что онъ лишь случайно подошелъ къ ней, чтобы сейчасъ же удалиться въ другую сторону,—что онъ заговорилъ о «рабахъ» и о служеніи ближнимъ только потому, что его слушатель былъ богатъ и имѣлъ рабовъ. Ну, а еслибы онъ ихъ не имѣлъ? Тогда самъ собою падалъ бы и вопросъ о рабахъ, о крѣпостномъ правѣ, о служеніи народу.

Очевидно, у Баздѣева, весь вопросъ сводится къ личной нравственности Пьера. Оттуда и та черта, что на одной линіи съ вопросомъ о «рабахъ» и въ томъ-же тонѣ, въ той-же перспективѣ трактуются Баздѣевымъ и отношенія Пьера къ его женѣ и къ Долохову.—«Вы женились, государь мой, взяли на себя отвѣтственность въ руководствѣ мо-

лодой женщины, и что-же вы сдѣлали? Вы не помогли ей, государь мой, найти путь истины, а ввергли ее въ пучину лжи и несчастья. Человѣкъ оскорбилъ васъ, и вы убили его...»—На это Пьеръ могъ-бы резонно возразить, что не онъ ввергъ жену свою въ пучину лжи и несчастья, а скорѣе она его ввергла туда, во-вторыхъ, что относительно такой женщины, какъ *Hélène*, дочь кн. Василія, нелѣпо и подымать вопросъ о какомъ-либо «руководствѣ» и «пути истины».—А вотъ насчетъ десятковъ тысячъ рабовъ Пьеру дѣйствительно слѣдовало признаться, что онъ виноватъ, очень и непростительно виноватъ,—въ особенности въ томъ, что, послѣ исторіи съ Долоховымъ, онъ «выдалъ женѣ довѣренность на управленіе всѣми великорусскими имѣніями, что составляло большую часть его состоянія» (т. II, ч. I, гл. VI). Ни откуда не видно, чтобы Пьеръ не только тогда, въ то первое время своихъ нравственныхъ и общественныхъ стремленій, но и впослѣдствіи, сознавалъ всю безнравственность этого преданія крестьянъ на произволъ такой душевладѣлицы, какъ *Hélène*, этой расплаты съ развратной женщиной за учиненный ей скандалъ душами и трудами рабовъ. И въ дальнѣйшемъ, надѣюсь, мы убѣдимся въ томъ, что это несознание, этотъ родъ нравственной слѣпоты у Пьера въ значительной мѣрѣ объясняется именно тѣмъ, что у него *отдѣленіе общественной задачи отъ лично-нравственной никогда не было доведено до конца.*

III.

Черезъ Бездѣва Пьеръ вступилъ въ общество масоновъ. Въ главѣ III (II части II тома) описывается обрядъ посвященія въ масоны. Цѣль ордена такова: «очищая и исправляя нашихъ членовъ, мы стараемся (наставляетъ Пьера «риторъ» при обрядѣ приѣма) исправлять и весь родъ человѣческой, предлагая ему въ членахъ нашихъ примѣръ благочестія и добродѣтели, и тѣмъ стараемся всѣми силами противоборствовать злу, царствующему въ мірѣ». Центръ тяжести здѣсь передвинуть въ сторону личной морали, причемъ нормы этой послѣдней носятъ рѣзкій отпечатокъ сектантскаго духа и также—аскетическихъ стремленій. То и другое должно было въ значительной мѣрѣ тормозить или исказить значеніе масонства, какъ движенія прогрессивнаго ¹⁾. Пьеру, какъ мы знаемъ, вскорѣ пришлось разочароваться въ масонствѣ, поскольку оно сводилось къ пустой формалистикѣ, упускало изъ виду практическія задачи филантропіи, какъ дѣла общественнаго, и наконецъ, принимало въ ряды своихъ членовъ лицъ, преслѣдующихъ исключительно цѣли личныя, эгоисти-

¹⁾ Я говорю здѣсь о масонствѣ въ томъ представленіи о немъ, какое вытекаетъ изъ его изображенія въ «Войнѣ и Мирѣ». Въ дѣйствительности наше масонство прошлаго вѣка и начала нынѣшняго имѣло гораздо больше значенія и вліянія, чѣмъ сколько склоненъ, повидимому, приписывать ему Толстой.

чекія (томъ II, часть III, гл. VII). Тѣмъ не менѣе на первыхъ порахъ Пьеру казалось, что онъ, наконецъ, вступаетъ на правильный путь; передъ нимъ дѣйствительно открывалась перспектива какихъ-то положительныхъ цѣлей жизни,—его прежнее безцѣльное, безидейное существованіе навсегда прекратилось. Послѣ неудачной попытки привести орденъ къ сознанію необходимости дѣятельнаго добра и энергической борьбы съ «порокомъ и глупостью», Пьеръ въ теченіи нѣкотораго времени занялся личнымъ упражненіемъ въ разныхъ, предписываемыхъ масонствомъ добродѣтеляхъ (ib., гл. VIII и X, дневникъ Пьера). Эти упражненія и сопутствующія имъ размышленія могли имѣть нѣкоторое нравственное значеніе лично для Пьера,—они составляли извѣстный «моментъ» въ его духовномъ развитіи, не оставшіяся совсѣмъ безплодными. Но для насъ гораздо важнѣе познакомиться съ другой стороною дѣла, именно съ попытками Пьера выйти на путь «дѣятельнаго добра»,—путь, который долженъ былъ его привести къ постановкѣ, въ той или иной формѣ, хотя-бы и въ чисто-филантропической, вопросовъ общественныхъ, и прежде всего—вопроса о крестьянахъ и крѣпостномъ правѣ. Любопытно, что увлеченіе Пьера этой стороною дѣла имѣло характеръ, такъ сказать, эпизодической и хронологически предшествовало его упражненіямъ въ личныхъ добродѣтеляхъ и душевспасительныхъ размышленіяхъ на масонскія темы.

Интересующій насъ эпизодъ изложенъ въ гл. X, II части, II тома. Мы находимъ Пьера въ Кіевѣ и узнаемъ, во-первыхъ, что онъ пріѣхалъ сюда для введенія реформъ въ своихъ имѣніяхъ, согласно «написанному имъ для себя» (конечно, въ духѣ масонскихъ идей о любви къ человечеству и щедрости) «руководству», и, во-вторыхъ, что въ это время преслѣдованіе идеала личной «чистоты» и «благонравія» никакъ не давалось ему. Ведя разсыпанную свѣтскую жизнь, среди соблазновъ которой пальма первенства принадлежала попрежнему женской прелести, Пьеръ «сознавалъ, что изъ трехъ назначеній масонства онъ не исполнялъ того, которое предписывало каждому масону быть образцомъ нравственной жизни, а изъ семи добродѣтелей совершенно не имѣлъ двухъ: добронравія и любви къ смерти. Онъ утѣшалъ себя тѣмъ, что за то онъ исполнялъ другое назначеніе—*исправленіе рода человѣческаго* и имѣлъ другіе добродѣтели—*любовь къ ближнему* и въ особенности *щедрость*».

Стремясь приложить къ дѣлу эти свои добродѣтели и начать «исправленіе рода человѣческаго», Пьеръ не могъ, конечно, не вспомнить прежде всего о тѣхъ десяткахъ тысячъ рабовъ своихъ, на которыхъ указывалъ ему Бездѣевъ. И вотъ онъ останавливается мыслью на необходимости освобожденія своихъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, а пока—въ ожиданіи исполненія этой мечты, предпринимаетъ въ своихъ имѣніяхъ рядъ реформъ и нововведеній, клонящихся къ улучшенію быта и къ нрав-

ственному и умственному просвѣщенію мужиковъ. Онъ вызвалъ всѣхъ управляющихъ въ Кіевѣ и «сказалъ имъ, что немедленно будутъ приняты мѣры для совершеннаго освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, что до тѣхъ поръ крестьяне не должны быть отягчаемы работой, что женщины съ дѣтьми не должны посылаться на работы, что крестьянамъ должна быть оказываема помощь, что наказанія должны быть употребляемы увѣщательныя, а не тѣлесныя, что въ каждомъ имѣніи должны быть учреждены больницы, пріюты и школы».—Таковы были прекрасныя начинанія Пьера. Но, какъ извѣстно, всѣ они такъ и остались начинаніями: крестьяне не были освобождены, больницы и школы остались только на бумагѣ или недостроенными, и фактически положеніе крѣпостныхъ графа Безухова отъ этихъ затѣй только ухудшилось. Толстой обстоятельно поясняетъ намъ, почему это такъ вышло—въ противоположность удачному выполненію тѣхъ-же плановъ князя Андрея.—Когда Пьеръ объѣзжалъ свои имѣнія, чтобы лично убѣдиться въ исполненіи своихъ предначертаній,—«народъ вездѣ представлялся ему благоденствующимъ и трогательно-благодарнымъ за сдѣланныя ему благодѣнія». Въ дѣйствительности-же было совсѣмъ не то: «Пьеръ не зналъ того, что тамъ, гдѣ ему подносили хлѣбъ-соль... ⁹/₁₀ мужиковъ были въ величайшемъ разореніи. Онъ не зналъ, что вслѣдствіе того, что перестали по его приказу посылать *ребятницъ*, женщинъ съ грудными дѣтьми, на барщину, эти самыя ребятницы тѣмъ труднѣйшую работу несли на своей половинѣ. Онъ не зналъ, что священникъ, встрѣтившій его съ крестомъ, отягощалъ мужиковъ своими поборами, и что собранные къ нему ученики со слезами были отдаваемы ему и за большія деньги были откупаемы родителями. Онъ не зналъ, что каменные, по плану, зданія (больницъ и школъ) воздвигались своими рабочими и увеличили барщину крестьянъ, уменьшенную только на бумагѣ. Онъ не зналъ, что тамъ, гдѣ управляющій указывалъ ему по книгѣ на уменьшеніе по его волѣ оброка на одну треть, была на половину прибавлена барщинская повинность» (ibid.).

Онъ ничего не зналъ... А потому и «былъ восхищенъ своимъ путешествіемъ по имѣніямъ» и думалъ: «какъ легко, какъ мало усилія нужно, чтобы сдѣлать такъ много добра!»

Главную причину неудачъ Пьера Толстой видитъ въ отсутствіи у него практическаго смысла, «той практической цѣпкости, которая бы дала ему возможность непосредственно взяться за дѣло». Мы уже знаемъ, какъ Толстой отгвѣняетъ этотъ недостатокъ Пьера противоположной чертою кн. Андрея.

Но—думается намъ—если бы все дѣло ограничивалось этимъ, то это было бы полъ-бѣды. Человѣкъ, лишенный дѣловитости и практической цѣпкости, можетъ однако для проведенія въ жизнь своихъ благихъ намѣреній найти исполнителей и помощниковъ, обладающихъ этими каче-

ствами. Пьеръ могъ бы, напр., обратиться за указаніями, какъ взяться за дѣло, къ князю Андрею, поучиться у него, найти черезъ его посредство надежныхъ и умѣлыхъ людей, вмѣсто того, чтобы съ поражающей для умнаго человѣка наивностью полагаться на плута управляющаго.

Итакъ, главная бѣда Пьера не въ этомъ. Она — въ томъ, что для него устройство быта крестьянъ и вопросъ ихъ освобожденія *довлѣютъ не сами себя, а являются только частью общей задачи исправленія рода человеческого*, и что, даже и помню этой масонской точки зрѣнія, для Пьера это великое и столь трудное, столь отвѣтственное дѣло было только *средствомъ личнаго нравственнаго удовлетворенія, успокоенія своей совѣсти и путемъ къ самоусовершенствованію*. Съ этой стороны освобожденіе и улучшеніе быта крѣпостныхъ являлось для Пьера *не целью, а средствомъ*. Вотъ это-то и подкапывало въ самой основѣ общественную дѣятельность Пьера и съ тѣмъ вмѣстѣ наносило ущербъ и *нравственнымъ* стремленіямъ его. Это станетъ намъ вполне ясно, если мы для опредѣленія *понятія о нравственномъ элементѣ въ отношеніяхъ между людьми* согласимся принять слѣдующую формулу, которую я считаю единственно-раціональной: *смотри на ближняго твоего, кто бы онъ ни былъ, какъ на цель, а не какъ на средство*. Изъ этого не слѣдуетъ, конечно, чтобы всякое трактованіе ближняго, *какъ средство*, было непременно *безнравственнымъ*. Нѣтъ, оно только — *не нравственно, не относится къ категоріи нравственнаго*. Въ попыткахъ Пьера — улучшить жизнь крестьянъ и освободить ихъ — *чисто-нравственный* элементъ сводился къ стремленію (хотя бы и безсознательно) стать къ мужику въ такія отношенія, при которыхъ онъ являлся бы для помѣщика цѣлью, а не средствомъ достиженія другихъ, постороннихъ цѣлей. Напротивъ, все, что — въ попыткахъ Пьера — вытекало *не изъ этого источника, а изъ желанія успокоить свою совѣсть и самому стать лучше черезъ стремленіе* (все равно, въ этомъ случаѣ, приведшее, или нѣтъ, къ положительнымъ результатамъ) *облагодѣтельствовать мужика*, — все это, говорю я, *не было элементомъ чисто-нравственнымъ*: это было только *благородно-эгоистическое стремленіе къ личному моральному благополучію*, при чемъ ближній (мужикъ) трактовался *какъ средство* для достиженія этой цѣли, и послѣдняя достигалась даже въ томъ случаѣ, если фактически положеніе мужика отъ этихъ стремленій только ухудшалось. Возьмемъ другой примѣръ: если помѣщикъ былъ добръ, нежаденъ, не злоупотреблялъ своей властью, и крестьянамъ жилось у него хорошо; если онъ ихъ не съѣлъ, не ссылалъ; если онъ не вторгался въ ихъ семейныя отношенія, не устраивалъ или разстраивалъ, по своему произволу, браки и т. д.; то, конечно, отношенія на практикѣ *переставали быть безнравственными, но и не превращались въ нравственные*: не слѣдуетъ смѣшивать идиллію съ этикою. Истинно-нравственный элементъ появится въ этихъ отноше-

ніяхъ съ того момента, когда эта гуманность, эта идиллія, будетъ одухотворена сознаніемъ, что низведеніе цѣлаго сословія на степень средства для матеріальнаго (да и всякаго иного) благополучія другого сословія есть нѣчто въ принципѣ безнравственное, и что нужно стремиться къ упраздненію этого порядка вещей. Сама по себѣ доброта, доброжелательность или жалость къ людямъ, гуманность и филантропія — все это только благоприятныя для установленія нравственныхъ отношеній условія и далеко не всегда на дѣлѣ совпадаютъ съ этими отношеніями. Истинное основаніе для послѣднихъ — свобода. Свобода личная — первый шагъ къ ихъ установленію, свобода экономическая — ихъ завершеніе. Только на почвѣ свободы возможны нравственныя отношенія между людьми, т. е. такія, при которыхъ человѣкъ — цѣль. Оттуда — извѣстное ощущеніе какой-то нравственной лжи, сопутствующее наилучшимъ филантропическимъ стремленіямъ при сохраненіи *statu quo* несвободы. Оттуда также — ингредиентъ нравственнаго элемента во всѣхъ стремленіяхъ къ свободѣ, усиливающийся вмѣстѣ съ углубленіемъ и расширеніемъ самого понятія свободы. Въ проектахъ освобожденія крестьянъ съ землею было больше нравственнаго элемента, чѣмъ въ проектахъ освобожденія безъ земли, и въ первыхъ онъ былъ прямо-пропорціоналенъ количеству и качеству предполагавашагося надѣла.

Изъ такой постановки вопроса вытекаетъ нашъ взглядъ на задачу, предстоявшую Пьеру и всѣмъ, ему подобнымъ, кто только сознавалъ въ ту эпоху ненормальность крѣпостного права и стремился успокоить свою совѣсть помѣщика. Заморить червяка совѣсти было нетрудно — идилліей и филантропией. Установить (или начать устанавливать) истинно-нравственныя отношенія къ народу можно было только — работая въ видахъ его освобожденія и экономическаго обезпеченія. Теперь спрашивается: что прежде всего было нужно для успѣшности этой работы? Прежде всего — *не путать сюда задачъ своего совершенствованія и съ самаго начала поставить вопросъ на единственно-раціональную, съ этической и съ соціальной точки зрѣнія, почву, а именно ту, которая выражается формулою: свобода и благосостояніе народа нужны для него самого, а не для успокоенія совѣсти помѣщиковъ*. Вотъ если бы Пьеръ сумѣлъ стать на эту точку зрѣнія, то, вмѣсто того, чтобы подвергать анализу свои душевныя движенія, онъ приложилъ бы свой умъ, свои силы къ изученію быта и нуждъ крестьянъ и самого вопроса о ихъ освобожденіи или о подготовкѣ ихъ будущаго освобожденія и, конечно, несмотря на всю свою непрактичность, что-нибудь все-таки сдѣлалъ бы полезнаго и дѣльнаго въ этомъ направленіи. Итакъ, дѣло сводилось къ перенесенію центра тяжести вопроса на почву соціальную и къ послѣдовательному разграниченію двухъ заинтересованныхъ въ вопросѣ «сторонъ»: стороны лично-нравственной и стороны общественной. Отъ такого разграниченія обѣ стороны только выигрываютъ.

У Пьера онъ не были разграничены и потому обѣ оказались въ проигрышѣ. Сторона социальная, фактическія отношенія помѣщика къ крестьянамъ и дѣло улучшенія быта послѣднихъ и подготовки ихъ освобожденія, не подвинулась ни на шагъ впередъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ и нравственный міръ Пьера, можно сказать, ничего не приобрѣлъ, ибо успокоеніе совѣсти или удовлетвореніе нравственнаго чувства, достигаемое столь фиктивными добрыми дѣлами, основанное на иллюзіи, не можетъ считаться приобретениемъ, плюсомъ въ нравственномъ обиходѣ личности, а равно и не говоритъ въ пользу большихъ запросовъ совѣсти, не свидѣтельствуетъ о тонкости, чуткости и серьезности моральнаго чувства. Съ этой стороны вышеприведенное указаніе Толстого на то, что Пьеръ былъ въ восхищеніи отъ своего путешествія по имѣніямъ, представляется намъ весьма характернымъ для Пьера, какъ нравственной величины въ данный моментъ его развитія. Еще характернѣе другое указаніе. «Главноуправляющій, весьма глупый и хитрый человекъ, совершенно понимая умнаго и наивнаго графа и играя имъ, какъ игрушкой, увидавъ дѣйствіе, произведенное на Пьера приготовленными приемами, рѣшительнѣе обратился къ нему съ доводами о невозможности и, главное, немужности освобожденія крестьянъ, которые и безъ того были совершенно счастливы». И Пьеръ поддался этимъ «доводамъ» глупаго и хитраго человека. Но почему-же, однако? И какъ это могло случиться? А вотъ—почему и какъ: *«Пьеръ въ тайнѣ своей души соглашался съ управляющимъ въ томъ, что трудно было представить себѣ людей больше счастливыхъ, и что Богъ знаетъ, что ожидало ихъ на волю».* Отсюда видно, что, во-первыхъ, Пьеру и въ голову не приходило простое соображеніе о томъ, что плохо то «счастье», которое зависитъ отъ доброй воли и прихоти рабовладѣльца, и, во-вторыхъ, что задача-то должна была состоять вовсе не въ томъ, чтобы сдѣлать раба счастливымъ, а въ томъ, чтобы сдѣлать его не рабомъ, предоставляя ему, какъ человеку свободному, самому устраивать свое благополучіе.—«Но Пьеръ»—читаемъ дальше— *«хотя и не охотно, настаивалъ на томъ, что онъ считалъ справедливымъ»,* т. е. на освобожденіи. Это «хотя и неохотно» чрезвычайно характерно: оно показываетъ, что у Пьера въ то время еще не было живого чувства нравственнаго отвращенія къ крѣпостному праву, къ роли рабовладѣльца, а также—что онъ далеко не усвоилъ себѣ ни общественнаго, ни нравственнаго значенія реформы (отмѣны крѣпостнаго права), къ которой лучше люди того времени стремились съ большей или меньшей сознательностью. Пьеръ не умѣлъ взглянуть на дѣло съ подобающей серьезностью, какъ на великую общественную проблему, которая должна быть изучаема, разрабатываема и—пока—рѣшаема, въ видѣ опытовъ, усиліями частныхъ лицъ, въ маломъ масштабѣ,—независимо отъ лично-нравственной задачи, отъ того, успокои-

лась-ли уже, или нѣтъ, совѣтъ того или другого помѣщика. Смѣшивая или не научившись еще раздѣлять эти двѣ задачи, Пьеръ принялъ успокоеніе своей совѣсти за рѣшеніе крестьянскаго вопроса.

Теперь опять вспомнимъ князя Андрея. Онъ, какъ мы знаемъ, также говоритъ, что крестьянъ слѣдуетъ освободить прежде всего для блага самихъ помѣщиковъ, чтобы они не портились нравственно. Но мы знаемъ также, что онъ высказываетъ это въ минуту душевнаго упадка, въ томъ состояніи ожесточенія, въ которомъ онъ находился, когда переживалъ душевный кризисъ. Пусть даже этотъ рѣзкій и крайній выводъ будетъ все-таки выраженіемъ барскаго отношенія къ народу и дворянскаго эгоизма кн. Андрея. Но это нисколько не мѣшаетъ ему на дѣлѣ заботиться о своихъ крестьянахъ—ради нихъ самихъ и работать для подготовки великой реформы: часть своихъ крестьянъ онъ освободилъ, другихъ перевелъ на оброкъ и (что для насъ весьма важно)—*не былъ, какъ Пьеръ, въ восхищеніи отъ своего великодушія.* Ни откуда не видно, чтобы онъ считалъ свою совѣсть успокоенною. Очевидно, онъ смотрѣлъ на свою дѣятельность въ этомъ направленіи, какъ на одну изъ первыхъ попытокъ, какъ на сильное стараніе начать дѣло въ маломъ размѣрѣ. Задача лично-нравственная у князя Андрея уже отдѣлена отъ общественной, и съ тѣмъ вмѣстѣ онъ уже близокъ къ тому, чтобы стать въ отношеніи къ народу на ту точку зрѣнія, съ которой свобода и благо народа являются сами по себѣ дѣлю. Съ этой стороны мы отдадимъ рѣшительное преимущество Болконскому передъ Безуховымъ.

IV.

Но пойдемъ дальше и взглянемъ на другую сторону медали.

Реалистъ Болконскій былъ одаренъ всеми качествами, необходимыми для плодотворной и въ свое время передовой дѣятельности въ сферѣ крестьянскаго вопроса. По существу дѣла, это была работа практическая. Но на ряду съ нею наступилъ чередъ поднятія общихъ вопросовъ о народѣ, какъ основѣ исторической жизни Россіи, о національномъ складѣ, о національномъ развитіи, объ отношеніяхъ образованнаго общества къ народной массѣ. Руководящимъ идеямъ и стремленіямъ передовой части общества предстояло постепенно демократизироваться. Мысль о народѣ должна была занять видное мѣсто въ ряду другихъ мыслей, какія только волновали умы мыслящихъ людей. Однимъ изъ пионеровъ этого движенія, этого поворота отъ зап. Европы къ русскому мужику является идеалистъ Пьеръ Безуховъ, въ высокой степени приспособленный къ этой роли по основнымъ качествамъ своего ума и сердца.

Прежде чѣмъ *идейно* подойти къ *реальному* народу, нужно было освоиться съ *идеями* народа, народнаго «духа»; необходимо было сперва

заинтересоваться самой мыслью о томъ, что есть какая-то своеобразная народная психика, есть невѣдомая намъ жизнь народныхъ массъ, съ ея вѣковыми устоями, съ ея своеобразными проявлениями обычаевъ, нравовъ, нравственныхъ понятій, вѣрованій, можетъ быть — идеаловъ. На все это надо было сумѣть взглянуть не сверху внизъ, не пренебрежительно, не брезгливо, не съ празднымъ любопытствомъ, а такъ, чтобы сказывалась внутренняя потребность приблизиться къ народу, понять и полюбить его. Мало того: въ противовѣсь прежнему презрѣнью къ нему, нужно было начать идеализировать его. Все это не дѣлается по щучьему велѣнью. У насъ оно постепенно какъ-бы *надвигалось* тѣми же путями, какими аналогичныя теченія народолюбія и демократизаціи мысли пробивались и въ зап. Европѣ: пути къ народу шли черезъ пробужденіе національнаго чувства, черезъ романтизмъ, черезъ интересы къ своей исторіи и старинѣ, наконецъ черезъ созданіе національной художественной литературы. Особливо важное значеніе въ этомъ движеніи принадлежало Пушкину, ученику Арины Родионовны, Пушкину — съ его теплой симпатіей къ народу, съ его уваженіемъ къ народной рѣчи, съ его глубокимъ и тонкимъ пониманіемъ русской народности.

Обращаясь къ нашимъ героямъ, мы скажемъ, что, насколько князь Андрей превосходилъ Пьера на попрѣцъ практическаго служенія народному дѣлу, настолько Пьеръ имѣетъ на своей сторонѣ всѣ преимущества въ роли провозвѣстника или пионера грядущаго народолюбія. Въ лицѣ Пьера представитель высшаго круга, высшей интеллигенціи времени и европейской образованности снятъ шапку передъ мужикомъ, передъ представителемъ народно-національнаго склада и вѣковыхъ устоевъ бытовой и нравственной жизни народа. Встрѣча Пьера съ Каратаевымъ и его возрожденіе подъ воздѣйствіемъ «духа каратаевщины» символизируетъ первые всходы того тяготѣнія къ народу, которое позже скажется въ передовомъ славянофильствѣ съ одной стороны, въ передовомъ западничествѣ съ другой, еще позже — въ идеяхъ и дѣятельности людей либерально-прогрессивнаго лагеря.

Для князя Андрея мысль о народѣ исчерпывается вопросомъ объ устройствѣ быта крѣпостныхъ и о подготовкѣ реформы. Для Пьера, послѣ встрѣчи съ Каратаевымъ, эта мысль возвысилась до *идеи народа* и стала вопросомъ цѣлаго міросозерцанія, начавшаго слагаться. Постараемся-же уяснить себѣ, какъ выразилась у Пьера идея народа, какое мѣсто заняла она въ обиходѣ его высшихъ понятій и его стремленій, и — наконецъ — какое воздѣйствіе могла она оказать на характеръ и направление его практической дѣятельности.

Съ этой цѣлью обратимся сперва къ главамъ XII-й и XIII-й четвертой части IV-го тома, гдѣ описывается та перемѣна, которая произошла въ Пьерѣ послѣ его освобожденія изъ плѣна, подъ влияніемъ

всего, что онъ видѣлъ и испыталъ во время занятія Москвы французами и въ плѣну. Здѣсь мы знакомимся съ рядомъ душевныхъ состояній, испытанныхъ Пьеромъ. Перебирая ихъ, мы прежде всего приходимъ къ мысли о необходимости устранить тѣ изъ нихъ, которыя пережили-бы всякій другой на мѣстѣ Пьера. Этотъ вычетъ дастъ въ результатѣ то, что характеризуетъ специально Пьера и что, собственно, намъ и нужно. Такъ, тотъ фактъ, что послѣ освобожденія на Пьера нашло какое-то безчувствіе и равнодушіе, и онъ съ полнымъ безучастіемъ отнесся къ извѣстіямъ о смерти кн. Андрея и своей жены, Эленъ, — легко объясняется физическимъ и душевнымъ переутомленіемъ, — и всякій другой на мѣстѣ Пьера такъ-же вяло, какъ и онъ реагировалъ-бы на новыя впечатлѣнія. — Далѣе, очнувшись послѣ болѣзни (онъ заболѣлъ въ Орлѣ по пути въ Кіевъ), первое, что ощутилъ онъ, было «радостное чувство свободы, — той полной, неотъемлемой, присущей человѣку свободы, сознаніе которой онъ въ первый разъ испыталъ на первомъ привалѣ, при выходѣ изъ Москвы...» — «Онъ удивлялся тому, что эта внутренняя свобода, независимая отъ вѣншихъ обстоятельствъ, теперь какъ будто съ излишкомъ, съ роскошью обставилась и вѣншею свободой». Теперь онъ былъ счастливъ однимъ сознаніемъ этой вѣншей свободы и, какъ ребенокъ, наслаждался самымъ процессомъ существованія. Все это психологически элементарно и ничуть не характеризуетъ Пьера, какъ такового.

Зато въ высокой степени характернымъ для него является то, что вышло изъ этого настроенія. Человѣкъ другого душевнаго склада пережилъ-бы это состояніе наивной радости свободы и жизни безъ всякихъ послѣдствій. Привычка жить и пользоваться свободой скоро отняла-бы у него эту жизнерадостность. Иначе вышло у Пьера. Дѣло въ томъ, что раньше жизнь и свобода казались ему цѣнными не сами по себѣ, а въ виду тѣхъ цѣлей, которыя онъ преслѣдовалъ. Теперь, въ силу необыкновеннаго подъема психологической цѣнности самой жизни и свободы, тѣ цѣли обезцѣнивались. Всѣ прежнія высшія стремленія, масонство, любовь къ человѣчеству, филантропическія предпріятія и пр., теперь теряли въ его внутреннемъ мірѣ ту значительность, какую они имѣли прежде. Толстой прямо говоритъ намъ, что «то самое, чѣмъ онъ прежде мучился, чего искалъ постоянно, цѣли жизни, теперь для него не существовало» (гл. XII). Но этого мало: Толстой говоритъ намъ также, что это было не временное настроеніе, которое пройдетъ, когда Пьеръ оправится и войдетъ къ колею жизни, — нѣтъ: «эта искомая цѣль жизни теперь не случайно не существовала для него, только въ настоящую минуту, но онъ чувствовалъ, что *ее нѣтъ и не можетъ быть*» (гл. XII). Иными словами: для Пьера обезцѣненіе прежнихъ цѣлей и новое для него опущеніе самоцѣнности жизни были только перемѣщеніемъ иде-

альнаго извнѣ внутрь, изъ макроkozма идей въ микроkozмъ личной повседневной жизни. Толстой разъясняетъ намъ это перемѣщеніе такъ: прежде Пьеръ «искалъ Бога въ цѣляхъ, которыя онъ ставилъ себѣ»,—теперь-же, главнымъ образомъ благодаря Каратаеву, онъ убѣдился, что искомый Богъ не только въ тѣхъ цѣляхъ, въ тѣхъ идеальныхъ стремленіяхъ, что онъ вездѣ, во всемъ. Пьеръ увидѣлъ Его въ Каратаевѣ, и «Богъ въ Каратаевѣ, казалось ему, болѣе великъ, безконеченъ и непостижимъ, чѣмъ въ признаваемомъ масонами Архитекторѣ вселенной». И Пьеръ, говоритъ Толстой, «испытывалъ чувство человѣка, нашедшаго искомое у себя подъ ногами, тогда какъ онъ напрягалъ зрѣніе, глядя далеко отъ себя»... (гл. XII.)—Ближайшимъ результатомъ этой перемѣны было состояніе внутренняго довольства, спокойствія духа, которое теперь испытывалъ Пьеръ: «И чѣмъ ближе онъ смотрѣлъ (на жизнь въ ея ежедневныхъ проявленіяхъ), тѣмъ больше онъ былъ спокоенъ и счастливъ» (ib.). Въ числѣ проявленій этой жизни были, конечно, и уродливья, и (такъ надо думать) Пьеръ, «созерцая» ихъ, оставался «спокоенъ и счастливъ». Толстой не говоритъ, какъ, въ этотъ періодъ, Пьеръ относился напр. къ крѣпостному праву. Но, судя по всему, онъ теперь примирялся съ нимъ, не въ принципѣ, конечно, но все-таки—съ фактомъ его существованія, и ни откуда не видно, чтобы протестъ противъ этого учрежденія, который Пьеръ раздѣлялъ раньше со всѣми передовыми людьми эпохи, сколько-нибудь подвинулся впередъ, сталъ бы сознательнѣе, осмысленнѣе.—Очевидно, Пьеръ выступалъ на какой-то новый «путь развитія»,—и пока неизвѣстно, куда этотъ путь приведетъ его.

Онъ могъ-бы привести его, напр., къ тому безнадежному оптимизму и примиренію съ дѣйствительностью, на которые, повидимому, намекаетъ Толстой, рисуя въ гл. XIII блаженное настроеніе Пьера. Здѣсь между прочимъ указана слѣдующая «новая черта» въ немъ: «это—признаніе возможности каждаго человѣка думать, чувствовать и смотрѣть на вещи по своему, признаніе невозможности словами разубѣдить человѣка».—Если это только—терпимость и слѣдствіе уваженія къ человѣку, то эта «новая черта» несомнѣнно—приобрѣтеніе, и Пьеръ—въ выигрышѣ. И мы склонны такъ смотрѣть на это, когда тутъ-же читаемъ: «эта законная особенность каждаго человѣка, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участія и интереса, которые онъ принималъ въ людяхъ». Но непосредственно слѣдующее за этимъ указаніе уже возбуждаетъ въ насъ сомнѣніе, не ошибаемся-ли мы, не должны-ли мы скорѣе считать Пьера въ проигрышѣ отъ «новой черты»: «различіе, иногда совершенное противорѣчіе взглядовъ людей съ жизнью и между собою радовало Пьера и вызывало въ немъ насмѣшливую и кроткую улыбку». Вотъ именно эта радость и кроткая улыбка, на ко-

торья въ этой главѣ неоднократно указываетъ Толстой, и смущаютъ насъ. Что-бы ни видѣлъ и ни слышалъ Пьеръ, хорошее, дурное, умное, глупое, онъ одинаково все только радуется и кротко улыбается. Такъ, «замѣчанія Вилларскаго, (съ которымъ Пьеръ встрѣтился въ Орлѣ и вмѣстѣ выѣхалъ оттуда), постоянно жаловавшагося на бѣдность, отсталость отъ Европы, невѣжество Россіи, *только возвышали радость Пьера*». Почему? А потому, что «тамъ, гдѣ Вилларскій видѣлъ мертвенность, Пьеръ видѣлъ необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая въ снѣгу, на этомъ пространствѣ, поддерживала жизнь этого цѣлаго, особеннаго и единаго народа...»—И опять радостно улыбался..

Не трудно видѣть, что отъ этихъ радостныхъ улыбокъ одинъ шагъ до квіетизма. Но, какъ мы знаемъ изъ дальнѣйшаго, въ особенности изъ эпилога, Пьеръ до квіетизма не дошелъ. Настроеніе радостныхъ улыбокъ было у него столь-же преходящимъ, временнымъ, какъ раньше увлеченія масонствомъ и филантропией. Это все еще былъ только «моментъ» въ его развитіи. Этотъ «моментъ» представляется намъ не лишенымъ интереса съ двухъ точекъ зрѣнія. Во-первыхъ, со стороны его значенія въ личной душевной исторіи самого Пьера. Толстой указываетъ на то, что только съ этого момента Пьеръ и сталъ замѣчать окружающую дѣйствительность и интересоваться ею, между тѣмъ какъ прежде она была для него покрыта туманомъ. Прежде онъ весь былъ поглощенъ своимъ мыслями, своимъ исканіями, теперь онъ присматривается къ людямъ, прислушивается къ чужимъ мыслямъ,—онъ очнулся и отвлекся отъ исключительнаго самоуглубленія и сталъ видѣть людей и вещи, какъ они есть. Съ тѣмъ вмѣстѣ въ немъ проявилось и нѣчто въ родѣ практическаго смысла и такта, которыхъ ему недоставало раньше, нѣчто въ родѣ чутка дѣйствительности. Онъ теперь умѣетъ отличить плута отъ порядочнаго человѣка, не раздастъ деньги зря и старается быть щедрымъ со смысломъ. Въ гл. XIII-ой это иллюстрируется примѣрами. И невольно мы сожалѣемъ, что такая полоса не нашла на Пьера раньше, когда онъ устраивалъ благополучіе своихъ крестьянъ.

Во-вторыхъ, «моментъ» въ развитіи Пьера, насъ теперь занимающій, представляется намъ имѣющимъ свое значеніе для Пьера Безухова—какъ художественнаго образа, совмѣщающаго въ себѣ зачатки будущихъ направленій и идеаловъ мыслящей части русскаго общества.

Если, отправляясь напр. отъ сороковыхъ годовъ назадъ, будемъ слѣдить за нитью направленій, которыя въ 40-е годы уже стояли другъ противъ друга, какъ враждующіе лагери, то увидимъ, что эти нити все сближаются и, наконецъ, соединяются или переплетаются, теряются въ настроеніяхъ однихъ и тѣхъ-же личностей. Въ 20-хъ годахъ мыслящіе и передовые люди бывали въ одно и то-же время или въ разные періоды своей жизни «западниками» и «славянофилами», при чемъ не было прин-

ципального, неустраняемого противорѣчія между этими—еще не «направленіями», а только «настроеніями». Это были еще только зачатки будущихъ системъ и школъ, зачатки, которые психологически редились и легко могли уживаться вмѣстѣ. Кто такой Чацкій? Славянофилъ или западникъ? И то, и другое. Самъ Евгеній Онѣгинъ, не переставая быть все тѣмъ-же «скитальцемъ» и «отщепенцемъ», пережилъ настроеніе, напоминающее будущее славянофильство ¹⁾. Вотъ именно перемѣна, происшедшая въ Пьерѣ, и можетъ быть разсматриваема, какъ одно изъ раннихъ всходовъ этого зачаточнаго славянофильства: Пьеръ уже дѣлѣтъ мысль о томъ, что русскій народъ есть какой-то особенный, «единственный» народъ, что подъ рубищемъ его бѣдности и отсталости скрывается великій національный духъ. Оттуда уже недалеко до націоналистическаго мессіанизма, который былъ характерной чертой стараго славянофильства.—Но, кромѣ этого эмбриона славянофильскихъ (а отчасти также и народническихъ идей), въ перемѣнѣ, постигшей Пьера, мы видимъ еще зерно того своеобразнаго религіозно-этического настроенія, которое при послѣдовательномъ развитіи можетъ выразиться въ отрицаніи разныхъ «направленій» и всякой «политики», въ равнодушіи къ реформамъ, въ антипатіи къ активному протесту, въ перенесеніи всѣхъ вопросовъ изъ сферы общественности въ сферу личности. Эта «нить» у насъ за все время нашего развитія отъ 20-хъ годовъ до 80-хъ не выдѣлялась въ особую «школу», но она проявлялась по временамъ, какъ нота, болѣе или менѣе явственно звучащая въ настроеніяхъ различныхъ умовъ, даже выдающихся, среди сутолоки и полемики направленій, школъ, идей. Въ жизни общества, какъ и въ жизни отдѣльныхъ лицъ, бывали моменты, когда русскіе умы, словно утомившись въ безплодной или казавшейся таковою работѣ надъ разными «вопросами», находили неожиданный выходъ въ перенесеніи ихъ во внутренній міръ личности, въ проповѣди лично-нравственнаго совершенствованія, которая вольно или невольно сочеталась (не всегда, но весьма нерѣдко) съ примиреніемъ съ дѣйствительностью и идеализаціей, если не ея существующихъ формъ, то ея основъ. Это—явленіе органическое, психологическіе корни котораго глубоко лежатъ

¹⁾ Россія!.. Русь!.. мгновенно
Ему понравилась отиѣнно.
И рѣшено—ужь онъ влюбленъ!
Россіей только бредить онъ!
Ужь онъ Европу ненавидитъ
Съ ея логической душой,
Съ ея разумной суетой!..

Въ послѣднихъ двухъ строкахъ какъ-бы пророчески резюмированы цѣлые томы Аксаковыхъ, Хомякова и др. — Съ другой стороны, тонъ отрывка (и выраженіе: «спроснулся разъ онъ патриотомъ въ Hôtel de Londres, что на Морской») указываетъ на легкость и несерьезность этого настроенія.

въ своеобразныхъ, исторически-сложившихся отношеніяхъ между русскимъ образованнымъ обществомъ и русскимъ народомъ. Глубокая пропасть между ними, неизбежное «отщепенство» образованнаго общества («интеллигенціи»), родъ чувства національной сиротливости въ сознаніи этого общества, оторваннаго отъ народа и къ «общественному дѣлу» не приспособленнаго, само огромное численное превосходство народа, навѣвующее мысль о его «мощи», его историческомъ призваніи, психологія тяготившаго небольшой группы къ народной массѣ—таковы главныя пружины, вызывающія у насъ отъ времени до времени душевную потребность найти успокоеніе въ философіи «народнаго духа», историческаго призванія націи и въ относительномъ, а иногда и абсолютномъ примиреніи съ основами и формами жизни, созданіе которыхъ приписывается тому-же «духу» или «генію» много-милліоннаго народа. Это еще хорошо, если за всѣмъ тѣмъ всетаки — при *такомъ* настроеніи — ставятся и преслѣдуются вопросы хотя-бы нравственнаго порядка, если идея движенія и прогресса не совсѣмъ упраздняется, а только искажается перенесеніемъ во внутренній міръ личности.

Теперь мы можемъ вернуться къ вопросу, который мы поставили выше: какое значеніе имѣла *идея народа* въ душевномъ обиходѣ Пьера, въ общей экономіи его воззрѣній, въ характерѣ и направленіи его дѣятельности?

V.

Мы знаемъ, что впечатлѣніе, произведенное на Пьера Каратаевымъ, было не только очень сильно, но и очень прочно: оно осталось на всю жизнь. Для Пьера Каратаевъ «остался навсегда» «непостижимымъ, круглымъ и вѣчнымъ олицетвореніемъ духа простоты и правды» (томъ IV, часть I, гл. XIII). Въ только-что разсмотрѣнномъ нами «блаженномъ» настроеніи Пьера, въ періодѣ «кроткихъ улыбокъ», ясно чувствуется своеобразное отраженіе духа «каратаевщины» — съ его смиреніемъ, съ его фаталистическимъ оптимизмомъ, съ его благодушно-кроткимъ отношеніемъ ко всему, что пронесетъ вокругъ,—отношеніемъ, въ которомъ нѣтъ ни тѣни протеста. Для каратаевщины въ ея подлинномъ натуральномъ и бессознательномъ видѣ, въ какомъ является она въ самомъ Каратаевѣ, характерно именно это *отсутствіе* протеста. Но вѣдь *отсутствіе* протеста не есть еще его *отрицаніе*, и, очевидно, Каратаевъ, который ничего не отрицаетъ, а все пріемлетъ, не будетъ отрицать и протеста, разъ онъ такъ или иначе проявится въ окружающей дѣйствительности. И въ самомъ дѣлѣ: изъ отсутствія духа протеста, изъ каратаевского оптимистическаго фатализма, изъ отвѣчающаго ему уклада воли съ психической необходимостью вытекаетъ тенденція—*не протестовать противъ самого протеста*, не отрицать его возможности, его законности,

его наличности. Это заключеніе вполнѣ подтверждается тѣмъ, что мы наблюдаемъ у Пьера въ разсматриваемомъ періодѣ его душевной исторіи, т. е. въ той же каратаевщинѣ, но только въ ея сознательномъ, осмысленномъ, теоретически обоснованномъ выраженіи, которое она получила у Пьера. Примирившійся съ дѣйствительностью Пьеръ примиряется и съ тѣми проявленіями протеста, какія онъ находитъ въ ней. Такъ напр., Вилларскій протестуетъ, страдаетъ, осуждаетъ,—и Пьеръ, кротко улыбаясь и не раздѣляя этихъ протестовъ и отрицаній, мврится, однако, съ фактомъ ихъ существованія, онъ допускаетъ ихъ возможность и законность. Это ясно изъ того, что говоритъ Толстой о вновь приобрѣтенной чертѣ Пьера—признавать возможность и законность различныхъ мнѣній и точекъ зрѣнія.

Итакъ, мы заключаемъ, что *въ каратаевщинѣ, какъ натуральной, народной, такъ и сознательной «интеллигентной», нѣтъ принципиальнаго отрицанія духа протеста, какъ бы сама по себѣ она ни была чужда эт ому духу.*

Имѣя въ своемъ распоряженіи этотъ выводъ, который представляется мнѣ существенно важнымъ, обратимъ теперь вниманіе на тотъ фактъ, что вѣдь Пьеръ, по складу своего ума, да и по всей своей натурѣ, несомнѣнно, принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, для которыхъ невозможна разумная и нравственная жизнь безъ протеста въ той или иной формѣ противъ золь, безобразій, недостатковъ и бѣдствій окружающей дѣйствительности. Масонство было въ свое время одною изъ формъ общественнаго протеста; многіе изъ лучшихъ людей эпохи присоединялись къ этому движенію, ища въ немъ не только пути къ абсолютной истинѣ и къ личному нравственному усовершенствованію, но и средствъ для просвѣтительной и филантропической дѣятельности, а, стало быть, и для тѣсно связаннаго съ этой дѣятельностью «протеста». Въ самомъ масонствѣ Пьеръ, какъ мы знаемъ, явился лицомъ протестующимъ: онъ возставалъ противъ формалистики и бездѣятельности и требовалъ *дѣятельнаго*, а не пассивнаго, *добра*; онъ мечталъ въ особенности о томъ, чтобы превратить масонство въ родъ союза «твердыхъ, добродѣтельныхъ и связанныхъ единствомъ убѣжденія» дѣятелей, которые вели бы энергическую пропаганду, вербовали бы достойныхъ лицъ и въ концѣ концовъ достигли бы того, что «орденъ» сталъ бы чѣмъ-то въ родѣ государства въ государствѣ, имѣя «власть нечувствительно вязать руки покровителямъ безпорядка» и т. д. (томъ II, ч. III, гл. VII). Однимъ словомъ, Пьеръ мечталъ тогда объ организованномъ и дѣятельномъ протестѣ.

Какъ извѣстно, Пьеру пришлось отказаться отъ этой затѣи. Вскорѣ онъ совсѣмъ отсталъ отъ масонства, разочаровавшись въ немъ. Событія 12-го года и въ особенности вліяніе Каратаева открыли его уму и чувству другіе горизонты. Его органическая склонность къ активному

протесту, его потребность дѣятельнаго добра на время какъ бы заглохли. Но онѣ не исчезли изъ обихода его души. Пьеръ не сдѣлался квіетистомъ, онъ не примирился съ дѣйствительностью. Въ эпилогѣ мы видимъ его одушевленнымъ болѣе, чѣмъ когда-либо, живымъ, сознательнымъ стремленіемъ къ дѣятельному добру и къ организованному протесту.

Онъ является однимъ изъ видныхъ дѣятелей, даже однимъ изъ вожаковъ движенія 20-хъ годовъ.

Въ XIV-й главѣ I-й части эпилога Пьеръ, въ спорѣ съ Николаемъ Ростовымъ, развиваетъ свои мысли и свою «программу». Онъ говоритъ: «...Всѣ видятъ, что дѣла идутъ такъ скверно, что этого нельзя такъ оставить, и что обязанность всѣхъ честныхъ людей противодѣйствовать по мѣрѣ силъ»... «Въ судахъ воровство, въ арміи одна палка: шагистика, поселеніе,—мучить народъ; просвѣщеніе думать. Что молодо, честно, то губять!» «...Когда вы стоите и ждете, что вотъ-вотъ лопнетъ эта натянутая струна, когда всѣ ждутъ неминуемаго переворота, надо какъ можно тѣснѣе и больше народа взяться рука съ рукой, чтобы противостоять общей катастрофѣ. Все молодое, сильное притягивается туда и развращается. Одного соблазняютъ женщины, другого почести, третьяго тщеславіе, деньги, и они переходятъ въ тотъ лагерь. Независимыхъ, свободныхъ людей, какъ вы и я, совсѣмъ не остается. Я говорю: расширьте кругъ общества; *mot d'ordre* пусть будетъ не одна добродѣтель, но независимость и дѣятельность.»

Въ главѣ XVI-ой, въ интимной и задушевной бесѣдѣ съ женой, Наташей, Пьеръ (только что вернувшійся изъ Петербурга, куда онъ ѣздилъ по дѣламъ «общества», на сей разъ—не масонскаго) говоритъ, что безъ него все (въ этомъ «обществѣ») «распадалось, каждый тянулъ въ свою сторону». «Но мнѣ (продолжаетъ онъ) удалось всѣхъ соединить, и потомъ моя мысль такъ проста и ясна... Я говорю: возьмитесь рука съ рукой тѣ, которые любятъ добро, и пусть будетъ одно знамя — дѣятельная добродѣтель...»

Эти рѣчи Пьера даютъ намъ ясное указаніе на то, каковъ былъ бы его дальнѣйшій путь въ жизни и его судьба, если бы великая эпопея не заканчивалась на этомъ поворотномъ пунктѣ, на этомъ «наканунѣ» великихъ событій. Путь Пьера это—тотъ «путь чести», который привелъ бы его, какъ и князя Андрея, если бы послѣдній не погибъ раньше «во глубину сибирскихъ рудъ».

Вотъ теперь-то какъ разъ въ-пору вспомнить Каратаева и каратаевщину,—вѣдь мы знаемъ, что въ Пьерѣ живъ культъ перваго и въ *известномъ смыслѣ* долженъ быть живучъ духъ второй.

Мы готовы спросить: при чемъ тутъ, въ виду этихъ стремленій и плановъ Пьера въ направленіи протеста и оппозиціи темнымъ силамъ

времени, въ виду открывающейся перспективы новой дѣятельности Пьера—при чемъ тутъ культъ Каратаева и духъ каратаевщины?

Мы готовы уже поставить этотъ вопросъ, но насъ предупреждаетъ Наташа.

Слушая рѣчи Пьера, она говоритъ: «Ты знаешь, о чемъ я думаю? О Платонѣ Каратаевѣ... Какъ онъ: одобрилъ бы тебя теперь?»

То, что отвѣчаетъ на это Пьеръ, въ высокой степени знаменательно. Онъ даетъ не одинъ, а два отвѣта. Эти отвѣты—противуположны и, въ тоже время, сходны въ томъ смыслѣ, что оба гадательны и не ясны, и что оба одинаково не имѣютъ рѣшающаго вліянія на направленіе дѣятельности Пьера.

«Пьеръ нисколько не удивился этому вопросу. Онъ понялъ ходъ мыслей жены.—Платонъ Каратаевъ?—сказалъ онъ и задумался, видимо искренно стараясь представить себѣ сужденіе Каратаева объ этомъ предметѣ.—Онъ не понялъ бы, а впрочемъ, можетъ быть, что да».

Отвѣтъ—*гипотетическій*. Кромѣ того, онъ не прямо отвѣчаетъ на вопросъ: Наташа спрашивала объ «одобреніи», отвѣтъ Пьера говоритъ о «пониманіи».

Второй отвѣтъ: «Нѣтъ, не одобрилъ бы, сказалъ Пьеръ, подумавъ»

Этотъ отвѣтъ также въ извѣстной мѣрѣ гипотетиченъ, хотя и не такъ нерѣшителенъ, какъ первый. Но онъ не ясенъ въ томъ смыслѣ, что оставляетъ насъ въ неизвѣстности,—почему собственно Каратаевъ «не одобрилъ бы», потому-ли, что «не понялъ-бы», или же и въ томъ случаѣ, еслибы «понялъ?»

Очевидно, «народная идея», живущая въ душѣ Пьера въ формѣ «каратаевщины»,—въ данный моментъ—а это былъ моментъ многозначительный, это было «накаунѣ», — «безмолвствовала». Но это «безмолвствованіе»—не тенденціозно, и, какъ бы оно ни было истолковано, какой бы отвѣтъ ни былъ поставленъ самимъ Пьеромъ въ этой «незаполненной графѣ». — *Пьеръ пойдетъ своей дорогой, отнюдь не терзаясь сомнѣніями: не противорѣчитъ ли духу каратаевщины этотъ путь чести и скорби*,—пойдетъ смѣло и бодро, сочувствуемый этимъ безмолвіемъ, которое онъ не перестаетъ сознавать и — такъ или иначе — истолковывать.

Князь Андрей—тотъ бы его не сознавалъ, и для него не существовало бы и самаго вопроса о возможномъ отношеніи каратаевщины къ его дѣятельности и судьбѣ.

Положеніе Пьера типично для всей дальвѣйшей исторіи нашей передовой «интеллигенціи» въ ея отношеніяхъ къ народу и идеѣ народа.

Она идетъ своимъ путемъ и дѣлаетъ свое дѣло—движимая условіями и духомъ времени, общечеловѣческими стремленіями, задачами, воздвигаемыми русской жизнью, своимъ посильнымъ пониманіемъ этихъ задачъ.

Культъ народа и идея народа, являющаяся различными «редакціями» понятія каратаевщины, то болѣе, то менѣе и въ различныхъ направленіяхъ идеализируемой, продолжаютъ быть для всѣхъ насъ, «взыскующихъ града», тѣмъ, чѣмъ были они для Пьера: живой потребностью души, бессознательнымъ стремленіемъ «привязать свою утлую ладью къ кормѣ большого корабля» народной жизни, необходимостью — не довлѣть самимъ себѣ, а служить живому дѣлу. Но въ противоположность Пьеру, мы уже не такъ осторожны въ истолкованіи безмолвія каратаевщины. Мы даемъ болѣе опредѣленные, иногда слишкомъ категорическіе отвѣты на «Наташинъ вопросъ». Мы часто склонны думать, что это безмолвіе не только сопутствуетъ намъ на путяхъ нашихъ, но и напутствуетъ насъ.

Подлинная, реальная каратаевщина по прежнему безмолвствуетъ. И въ этомъ нѣтъ ничего ни удивительнаго, ни огорчительнаго. Ибо она, эта «каратаевщина», какъ я старался показать это въ главѣ о Каратаевѣ,—только *форма*, а не содержаніе, она—наша національная форма въ ея крестьянско-арханчскомъ выраженіи. Отъ формы не слѣдуетъ ожидать никакихъ отвѣтовъ ни на какіе вопросы. Отъ нея можно и должно ожидать только одного: чтобы она оказалась жизнеспособной и могла безъ опасенія исказиться или разложиться, выдерживая на всемірно-историческомъ попріищѣ конкуренцію другихъ національныхъ формъ, наполняться новымъ историческимъ содержаніемъ.

